



А. АМФИТЕАТРОВ и Е. АНИЧКОВ

Победоносцев

ОТ АВТОРОВ

Предлагаемые здесь два очерка исходят из стана непримиримых врагов Победоносцева. Они написаны не *sine ira et studio*. Отнюдь. Оба автора очерков глубоко убеждены в том, что Победоносцев всей своей деятельностью не только принес огромный вред России, но и еще как бы воплотил в себе целиком все то ужасное зло, которым страдала Россия и которым она продолжает страдать и теперь.

Авторы этих очерков поставили себе целью заклеить Победоносцева, указать хоть часть содеянных им преступлений перед родиной и осветить его личность с точки зрения пагубности всей его деятельности. Его мысли и его чувства враждебны тем воззрениям, какие исповедуют оба автора. Между теми и другими невозможно никакое примирение. Признание злыми и преступными все убеждения и все поступки Победоносцева составляет самую сущность мирозозерцания, вызвавшего к жизни эти очерки. Тут нечего вновь переоценивать, нечего вновь передумывать. Преступность Победоносцева представляется здесь аксиомой, основным принципом.

И очерки эти должны были выйти при жизни Победоносцева. Простое типографское замедление заставило их выйти несколько позже, и за время этого невольного замедления Победоносцев умер. Оттого эти очерки не посмертный отзыв. Но смерть Победоносцева не должна была остановить их выхода в свет. Если дело идет в них и о личности, то личность эта вызывает к себе интерес только как носительница известного принципа. Принцип же этот — увы! — не умер вместе с Победоносцевым, и с ним все еще необходима борьба, непримиримая и упорная.

А. АМФИТЕАТРОВ

Победоносцев как человек и как государственный деятель

Победоносцев.

Написать эти тринадцать букв, сливающихся в сочетание, столь роковое и несчастное для русского народа, очень легко... Но — дальше-то что же?

Когда я взялся сделать характеристику г. Победоносцева в его политической, общественной и литературной деятельности, задача представлялась мне весьма простою. Настолько же, если, пожалуй, еще не проще, как описать гранит Александровской колонны или гранитные тумбы решетки в саду при Зимнем Дворце — этот верх безвкусыя и раззолоченной аляповатости, оплаченных миллионами рублей. С именем г. Победоносцева в воображении русского человека сливается представление такой определенности, прямолинейности, жестокой, именно гранитной устойчивости, что — казалось бы — с этим наглядным и осязательным, недвижимым материалом — труды не велики и возня недолгая: наставил фотографический аппарат — хлоп — и снимок готов. Но тут-то и начинается Победоносцев озадачивать своего изобразителя. Проявляешь негатив, а на нем — вместо ожидаемой прямолинейно-гранитной фигуры — ничего. Ну, как есть ничего! Пустое пространство, даже без мутных пятен, какие получают спириты, фотографируя материализованные призраки. И так-то — не раз, не два, а постоянно, с различных сторон и при всевозможном освещении. Эта загадочная неуловимость в сочетании с наглядною, казалось бы, простотою насмешливо не дающихся форм, производит в конце концов впечатление почти суеверное. Точно под вашим аппаратом стоял не благочестивый обер-прокурор святейшего синода, отставной *de jure*¹, но донныне, так сказать, архи-прото-обер-прокурорствующий *de facto*¹, а какой-либо, не к ночи будь сказано, нечистый дух, вроде домового или лешего. И того и другого любая деревенская баба изъяснит вам весьма красноречиво и живописно в массе анекдотов, легенд и сказок, очень характерных и, казалось бы, вполне определительных. Но — когда вы спрашиваете бабу: а каков он, леший? — она, понятное дело, становится в тупик и отвечает вам невразумительным лепетом: — «повыше леса стоячего, пониже облака ходячего», «одна ноздря, а спины нет», «леший — он к себе девок уводит» и т. д. Нельзя не сознаться, с печальною

откровенностью, что суждение русской публики о г. Победоносцеве, управляемое больше инстинктом, чем знанием, в значительной степени сводится к подобной же фантастике. Как в домовом и лешем для бабы, так в г. Победоносцеве — для публики — нет лица. Есть миф, который, чтобы быть воплощенным, требует фантазии и творчества художников, а средства точного знания и механического воспроизведения над ним, покуда, безвластны. Поэт, живописец, скульптор, музыкант могут вообразить и изобразить лешего — до впечатлений, почти подобных реальности. Но аппарат фотографа, направленный на лешего по указанию какой-либо галлюцинирующей бабы, воспроизведет только деревья и кусты, среди которых ей чудится леший. Так и биография Победоносцева дает разочарованному в ожиданиях русскому обществу совсем не самого Победоносцева, но лишь пассивную обстановку, среди которой жил и действовал Победоносцев. Сам же Победоносцев, — эта нелепая галлюцинация, этот дикий кошмар русской истории, — из нее исчезает. Иван Антонович Расплюев уверял полицейского надзирателя, что — «я... я так, я без фамилии». Константин Петрович Победоносцев мог бы с еще большим правом утверждать, что он «без биографии». Расплюев божился, что у него «вместо фамилии — так». Константин Петрович Победоносцев может хоть присягу принять, что у него вместо биографии послужной список. В своей библиотеке я нашел не менее двадцати книг, повторяющих имя Победоносцева с проклятиями или лестью, но, в конце концов, ни проклятиями, ни лестью фантом не перерабатывается в фигуру, и, прочитав о Победоносцеве двадцать книг, я знаю о нем положительно только то, что говорит «Энциклопедический Словарь Брокгауза и Ефрона», и для чего не стоило перелистывать двадцать книг.

«Победоносцев (Константин Петрович) — известный юрист и государственный человек, Д. Т. С., статс-секретарь, родился в Москве в 1827 г. По окончании курса в училище правоведения поступил на службу в Московские департаменты сената; в 1860—1865 гг. занимал кафедру гражданского права в московском университете; в то же время состоял преподавателем законоведения великим князьям Николаю Александровичу, Александру Александровичу, Владимиру Александровичу, а позднее и ныне царствующему Государю Императору. В 1863 г. сопровождал покойного наследника цесаревича Николая Александровича в его путешествии по России, которое описал в книге: «Письма о путешествии наследника цесаревича по России от Петербурга до Крыма (СПб. 1864)». В 1865 г. назначен членом консультации министерства юстиции, в 1868 г. сенатором, в 1872 г. членом государственного совета, в 1880 г. обер-прокурором Святейшего Синода; эту должность он занимает и до сих пор. Состоит почетным членом университетов Московского,

Петербургского, св. Владимира, Казанского и Харьковского, а также членом Французской академии».

Вот и все.

Победоносцев — политическая сила, но где ответственные политические акты, открыто утвержденные его именем?

Победоносцев — общественное пугало, но где открытые общественные выступления, заслужившие ему его ужасную репутацию?

Победоносцев — ученый, но его ученая карьера давно поросла травой забвения. Где данные, на чем основаны его права на звание почетного члена стольких университетов и академий? Кто помнит науку Победоносцева? Кто с нею считается?

Победоносцев — литератор. Передо мною — целая куча его литературных произведений. Но он имеет достаточно добросовестности, чтобы не считать их своими произведениями. В огромном большинстве страниц это просто выборки из прочитанных книг, преимущественно старинной литературы, под которыми сочувствующий Победоносцев ставит свой бланк, как бы министерски контрастируя суверенитет признаваемой им идеи. На обложках своих книг Победоносцев обозначается не как автор, но лишь как издатель. Вперед выставляется Бэкон, Эмерсон, Лилли, а сам Победоносцев, как всегда и всюду, остается в тени их фигур и ловко движет их мыслями и словами, будто военными машинами. Он заставляет безответных мертвецов работать на свою волю совершенно так же, как привык он жонглировать волями разных высокопоставленных живых, сотнями плясавших по его дудке в течение пятидесяти лет, что карьера Победоносцева переплелась с судьбами русской имперской культуры.

Скажи мне, что ты читаешь, — это все равно, что скажи мне, с кем ты знаком, — и я скажу тебе, кто ты. Увы! Нет правила без исключения, и на Победоносцеве эта старинная сентенция терпит крушение полнейшее. Отошедшим из мира людям, которых хорошо знал Победоносцев и счел своим долгом справиться по ним тризну, посвящена им целая брошюра «Вечная Память». Некоторых Победоносцев даже уважал и как будто любил, поскольку он, в своей почти цинической надменности засушенного бюрократа, вообще способен любить и уважать другого человека. С жадностью ищешь в этой книге утерянных симпатий хоть какого-нибудь ключа к запертой душе Победоносцева. Ничего! Точно — вместо души, как у кота, пар! Ни одной непосредственной мысли, ни одной искры живого пылкого чувства, — все мертвые схемы, облеченные в риторику допотопного карамзинского слога, пустота общих мест, одобренных ловкими цитатами и

академическим подбором громкозвучных текстов из священного писания, отцов церкви, духовных ораторов. Все — заказные надписи на повапленных гробах! —

Грубая семинарская цитата, любимое орудие «элоквенции профессорства», — вот альфа и омега фальшивого, надутого, кабинетно-придуманного и высиженного лже-литераторства Победоносцева. Хочет человек написать, что — вот, была хорошая женщина, а пишет: «память ее да будет с похвалами». Хочет выразить, что было мне грустно проводить тело такого-то в могилу, а пишет: «Яшася врата плачевныя». И — ни капли искренности, ни капли чувства, ни звука правды. Все — мертвая риторика форм, не согретая ни искрою сердечного тепла, все — буквы, не освященные ни отблеском духовного содержания, казенная фальшь, нагло верующая, что — *siculus non facit monachum*²: надел мундир, будут тебя за начальство держать!

Эти бесконечные цитаты, эта ужасная привычка говорить тяжеловесными глаголами чуть не допотопных мертвецов действуют на свежего читателя необычайно тяжело — дурманом каким-то. Какой это автор? Какой литератор? Это — просто экспроприатор заплесневелых библиотек. С тоскою следишь строку за строкою, страницу за страницей, Ну, — вот Бэкон, вот Эмерсон, вот Карлейль... вот — ах, скажите, пожалуйста! — даже Герберт Спенсер. Но — Победоносцев-то, Победоносцев-то — где же? Где его мысль? Где его личность? Довольно гробокопательства, довольно разграбленных могил, довольно глубокомыслия, заимствованного у покойников, собирающихся в лунную полночь на Вестминстерском кладбище поговорить о человеческих делишках. Хоть на минутку покажите, что у вас есть свои мысли, слова, чувства, себя покажите — живого себя!

Победоносцев не внемлет, но — знай — нижет и нижет свои нагромождения отжившей мысли, будто тот огромный скелет, что в Базеле ведет за собою, играя на скрипке, бесконечный *dans e macabre* — Пляску Смерти³. Мертвая крошка из отголосков большой и поместительной памяти, похожей на сиракузские катакомбы — неистощимый запас костяков, одетых в монашеские рясы и поставленных либо повешенных стоять в затхлом подzemельи, будто, и впрямь, живые люди.

Победоносцев — «большой государственный человек». Он — то, что Лесков называл «худородным вельможею», но уже не «кутейник», не «колокольный дворянин», он — барин, аристократ. Кутейничество, колокольное дворянство, корень и печать племени Левитова, остались где-то далеко позади. Как у щедринского Порфиши Велентьева, у Победоносцева «предстояние

алтарю» — дело нескольких уже угасших, восходящих поколений. Но странное дело! — атавистическое влияние логики и житейских приемов этих левитских поколений живет и сквозит в Победоносцеве, их выродке, с такою сильною выразительностью, будто он сам еще воспитывался в ужасной «Бурсе» Помяловского и перешел к государственному кормилу прямо от ее коростовой среды и схоластической зубрежки. Точно еще вчера издевался над ним Ливанов и свирепый Батька выдирает с его черепа волосы. Точно еще вчера заставляли его, «шутки ради», писать отвлеченные доказательства, pro — во славу графина с водкою, а когда профессор тем временем водку выпьет, то, обратно, contra — во славу пустого графина, но с одинаковым изяществом и равною убедительностью. Победоносцев весь — семинарская мысль, облеченная в семинарское слово, комбинированная в семинарский внешний и наглый софизм. Он — ходячая дисциплина рясы, никогда не бывшей и не желающей быть нешвенным хитоном, зато отлично понявшей, что она — государственный мундир. Подъячий переплелся в нем с псаломщиком так тесно, что не разобрать, где кончается один и начинается другой. Священное Писание, молитвы, богослужение — все это для победоносцевского формализма лишь собрание комментариев «от божественного» к первому тому Свода Законов.

— Поп! Поп! — бранили когда-то Сперанского недовольные им масоны, — написал себе в законах, что у нас — православие, и дальше ни знать, ни понимать ничего не хочет.

Сравнивать Победоносцева с гуманным и мягким Сперанским обидно для памяти последнего, но, при всех видовых различиях, у них была общая родовая черта, воспитанная семинарскою формулою: способность умозрительно «написать в законах» и одновременно так прочно уверовать в святость и непреложность написанного, что все усилия и напоры жизни уже не в силах переменить ни одной иоты в диалектически выношенном рукописании. Победоносцев додумался, что Бог — в букве, а не в духе, и обоготворил букву, и поставил ее выше всего на свете, и жестоко мстил, мстит и будет мстить, покуда жив, всем, кто не согласен с божественностью его буквенного бога, кто дерзает почитать иоты пременимыми. Нет житейских отношений, нет нравственных запросов и напряжений, от которых этот человек не умел бы отделаться, — как последним, зажимающим всякий рот, прекращающим всякую дискуссию, аргументом, — катехизаторским текстом из Священного Писания или цитатою из какого-либо церковного элоквента, удостоенного от Победоносцева быть признанным за авторитет. Характерная особенность, за-

метьте ее себе на память: Победоносцев почти никогда не цитирует Евангелия. Разве это не знаменательно? Ниже мне еще придется говорить о его распре с этою книгою. Сейчас достаточно лишь отметить эту странность. Христос, Шекспир и Пушкин — великая тройственная симфония мысли — вот три живые силы, от которых мертвая мысль Победоносцева уклоняется, с позволения вашего сказать, как черт от ладана. Право, иногда Победоносцев цитатами своими напоминает мне того легендарного киевопечерского инока, который, по дьявольскому обольщению, сделался необыкновенно учен и начитан в Писании, — только братия заметила вскоре, что он силен лишь в пределах Ветхого Завета, а как до Христа дошел, так и споткнулся. Ну, и уразумели, что «бысть сие ему не от ангелов света, но от лукавого». Либо — другая параллель — какого-нибудь гнусавого святошу Атакумка из эпохи пуританизма. Победоносцев ненавидит протестантизм, но в своем цитаторском усердии и красноречии он, как две капли воды, похож на тех «круглоголовых»⁴, которые двести пятьдесят лет тому назад решали государственные судьбы Англии стихами, вроде «И истребил Господь Амалика», «И заклял их Илия при жертвенниках их» и т. п. Но «круглоголовость» модернировалась в Победоносцеве еще тою мертвенно-застойною и архи-буржуазною чертою, которую Диккенс высмеял в английском обществе, под названием «подснаповщины» — от имени мистера Подснапа, действующего лица в «Нашем Общем Друге», прославленного завидною способностью «перекидывать через плечо» каждый общественный вопрос, который ему не нравится, как не существующий вовсе. Читая Победоносцева, вы часто опускаете книгу в изумлении: где пишет этот человек? в каком веке он пишет? для кого он пишет? В нем есть известные отвлеченные — и весьма кисло-сладкие — азбучные понимания абсолютного добра; но — сопряженные с таковыми, практические осуществления ему ненавистны. Он в состоянии сентиментально вообразить себе учительницу, самоотверженно голодающую в сельской школе во имя просвещения народного, и вчуже умилиться идеальным священником, вроде героя Потапенкова «На действительной службе». Но, встретясь с этими фантомами не в фантазии литературы или в собственном своем кейфующем воображении, он, сановный мистер Подснап на обер-прокурорском посту, бесцеремонно перекидывает их через плечо первым пришедшим в его семинарскую память текстом — и перекидывает с такою энергией, — что, глядишь, трогательная учительница упала где-нибудь в Якутской губернии, а умильный священник — в Суздальском Спасо-Евфимиевском монастыре⁵.

Если исключить из воспоминаний Победоносцева фигуру в. кн. Елены Павловны, главную общественную заслугу которой — энергичное участие в освобождении крестьян — он, однако, обошел с кислою улыбкою, почти молчком, — то все симпатии этого человека оказываются связанными с людьми, проклятыми в истории русской цивилизации, с демонами и служками самых мрачных реакционных эпох и дел. Но какая сладостная метаморфоза! Читая Победоносцева, неизменно убеждаешься, что реакцию на Руси всегда делали исключительно ангелы во плоти. От больших — до малых. Один из самых восторженных некрологов своих Победоносцев посвятил некой г-же Шульц — «даме-патронессе», отдавшей себя воспитанию и образованию девиц духовного звания, начальнице соответственного, знаменитого в своем роде, учебного заведения в Царском Селе. Воспитательные приемы г-жи Шульц были совершенно в духе и во вкусе Победоносцева: она осуществила его идеал духовной женской школы. Ну, и, конечно, как водится, «память ее да будет с похвалами», и для нее тоже «яшася врата плачевныя!» Но, заглянув в «Материалы для истории женского образования в России», вы легко убедитесь, что если для кого действительно «яшася врата плачевныя», — и сколько, сколько раз! — то, увы, не для г-ж Шульц, почетно, сытно и спокойно доживавших под покровительством Победоносцева до восьмидесяти лет, в чудесной пенсионной обстановке, но для воспитанниц, имевших несчастье попадать в лапы их тяжелого лицемерия. Вот аттестация русским женским учебным заведениям для девиц из духовного звания, выданная никем другим, как ярославским архиереем:

— Воспитанницы нередко оставляют заведение с полурасстроеною грудью, и многие священники жалуются, что, взяв невесту из воспитанниц духовного училища, они подвергли через то себя раннему вдовству или угрожаются им.

В семидесятых и восьмидесятых годах физическая забитость воспитанниц из духовных училищ получила настолько дурную огласку, что, «несмотря на заботы императрицы о том, чтобы воспитанницы, по окончании курса, выдавались замуж, эта цель не достигалась; митрополиты и преосвященные, прилагавшие все старания к выполнению такой задачи, постоянно говорили в своих донесениях императрице о встречаемых ими в этом затруднениях». Тем не менее г. Победоносцев в 1882 году покрыл эту медленную педагогическую бойню девушек, эту «фабрикацию взрослых ангелов», своим обер-прокурорским авторитетом, признав за женскими духовными училищами — во всеподданнейшем отчете — «общегосударственное значение». Мистер Подснап

в обер-прокурорском мундире перекинул через плечо сотни туберкулезных трупов и выдал похвальные листы синодальным фабрикантам и фабриканшам взрослых ангелов, начиная с царскосельской обер-фабрикантши их, покойной m-me Шульц.

Вот еще — умиляющий сердце Победоносцева — любезный ему покойник: Ильминский. *Tanto nomini nullum par elogium!*⁶ Назовите это имя при мало-мальски образованном мусульманине русском, и вы увидите, что он либо побледнеет, либо скроит такую гримасу, будто увидел дьявола наяву. Этот Ильминский довел заволжских татар до такого ужаса к миссионерству своему, что был косвенною причиною знаменитого колокольного бунта в Казанской губернии, при губенаторе Скарятине. Этому последнему вздумалось воздвигать по всем деревням и селам столбы с колоколами — так сказать, вечевыми: для созыва крестьян на сход. В русских деревнях посмеялись и приняли колокола, но в татарских, чувашских и пр. взялись за колья. Потому что — говорят:

— Это Ильминский к нам едет — мечети ломать и нас в христианскую веру крестить.

И вот маленького Торквемаду, доведшего миллионное иноверное население до такового трепета к миссионерскому фанатизму, что одной мысли о новом наезде его уже достаточно, чтобы вспыхнул бунт, — Победоносцев возводит в идеал христианско-государственного деятеля. «Я не раз говорил графу Д. Толстому, — хвастается он, — что считаю самую крупную его заслугу пред Россией то, что он угадал, оценил и поддержал Ильминского». Ну, еще бы! *Les beaux esprits se rencontrent!*⁷ Быть благословенным от Дмитрия Толстого и заслужить хвалебный некролог от Победоносцева — стать третьим в этом союзе государственных Дамона и Пифия, *allias*⁸ Удава и Дыбы — какой еще аттестации надо человеку? И, — как все приятные Победоносцеву городовые от религии, — этот креститель «огнем и мечом», чье имя заставляло темных татар разбегаться по лесам, прятаться по оврагам или браться за колья, оказывается в некрологе фигурою идиллическою, чуть не из карамзинской «Бедной Лизы»... Он любил птичек хоры, ручейки, зелень молодого деревца... молочко, овечку...

Один из наиболее реальных ужасов победоносцевского бытия и влияния на Россию заключается в том, что он талантлив находить своих «людей» — выпустошенные души, способные в совершенстве осуществлять его выпустошенные идеи и планы — и в совершенстве же умеет такими живыми машинами пользоваться. Какая-нибудь Шульц, какой-нибудь Ильминский, какой-

нибудь Калачов — это все резервуары для сукровицы победоносцевских мыслей, из которых через десятки рабски послушных кранов, расплзается она потом по России, чтобы гноить ее от финских хладных скал до пламенной Колхиды. Ни в государстве, ни в религии Победоносцев ни разу не сумел возвыситься даже до того жиденского и реакционного, националистически-земского идеала, что воплощало собою московское славянофильство, к которому Победоносцев постоянно навязывал себя в поклонники и сторонники, но — напрасно. Грубая фигура Ивана Аксакова сильно исчернена реакционными пятнами, но это был, даже и в реакции, человек честный, не доносчик, не холоп, не выгодчик, не сыщик, не «чего изволите» барского крыльца, а, главное, не подъячий и не опричник. И, хотя Победоносцев присосался и к его памяти, как некая хвалебная пиявка, но — так Булгарин называл себя другом мертвого Грибоедова! Крупный государственный деятель, которого можно считать последним могиқаном московского славянофильства, Третий Филиппов презирал Победоносцева всю свою жизнь и был для него, в бюрократической карьере, едва ли не единственным предметом постоянного и действительного страха, как знаток церковных вопросов и канонического права, — следовательно, самый вероятный кандидат, по достоинству, на пост обер-прокурора Святейшего Синода. Победоносцев — человек приказа и опричнины. Чтобы высиживать правовые нормы, ему нужен приказный, чтобы осуществлять высиженные приказным вдохновения, ему необходим опричник. Только приказного с опричником и понял он в русской истории, и только приказный с опричником дороги ему в русской действительности.

Победоносцева часто обзывают и рисуют в карикатурах «вампиром» России. Либо — «змием», вроде того великого никонианского змия, о котором повествует благочестивому Грише майковский «Странник»:

И было зримо, како по ночам
Сей змий, уста червлены, брюхо пестро,
Ко храмину царевоу подползал,
И царское оконцо отворялось.
Царь у окна сидел, а змий, вздымаясь
По лестнице, клубами подымался
Вверх до окна... И так, к цареву уху
Припав, шептал он лестные слова...

Ну, змий, да еще великий — это для Победоносцева чести много. Хотя — надо ему отдать справедливость: что касается «никонианства» — как веры, введенной в рамки устава сино-

дальних канцелярий, — то вряд ли сам Феофан Прокопович, творец «духовного регламента», предвидел столь полное воплощение своей идеи, — столь совершенное слияние в одном лице византийского умопомрачения с немецким бюрократизмом.

Змий — чести много. Но «вампир» — хорошо.

Вампир!

В Моравии — этой классической стране вампиров — существует поверье о необычайной способности их проникать в жизнь человеческую, под видом густого зловредного тумана, в котором никто не подозревает враждебной демонической воли: все думают, что имеют дело с самым обыкновенным природным явлением, а между тем, живой туман, выждав свой час, материализуется в грозный фантом, — свирепое привидение склоняется к постелям спящих и сосет кровь человеческую.

Таким вампирическим туманом окутал Победоносцев внутреннюю политику в тактику двух самодержавных царствований, в которых его влияние было неограничено — и всегда вело к насилию, крови, рабству, разорению и истощению народа.

Часто спрашивают:

— Где реальные причины к всеобщей ненависти против Победоносцева? Где лично им принесенное и принятое на свою ответственность зло?

Как ни подспудна еще история последних тридцати лет русской жизни, однако, за фактическим ответом на подобные вопросы дело не станет. Но отчасти вопрошатели правы. Реализоваться в кровососный фантом Победоносцев не любит, — у него есть вампирская скромность — не хвастаться собою, он предпочитает суть явлениям, и вампиры напоказ, какой-нибудь фон Плеве, Трепов, Дурново, должны возбуждать в нем почти презрение: мальчишки и щенки! Ответственные редакторы собственного вампирства! Пугала на государственном огороде! Не таков Константин Петрович Победоносцев. Он — туман. Вездесущий, всевидящий, всеслышащий, всеотравляющий туман кровососной власти. От него нечем дышать русскому обывателю, и, напITYваясь им, дуреет и впадает в административное неистовство русский государственный деятель, правитель, министр. Он — медленное убийство в среде правящих и медленная смерть — среди управляемых.

Этот человек любит казнь, смерть, тление. В «Московском Сборнике» есть целая глава, где Победоносцев говорит об отношении к мертвому телу у нас на Руси и у народов западной Европы. Конечно, тлетворный Запад оказывается кругом виноват перед покойниками: почитая трупы гнездами болезнетворных

зараз, он торопится сбывать их из общества живых как можно скорее в могилу, а в последнее время даже воскресил и широко распространил обыкновение сожжения мертвых тел, о котором Победоносцеву «дико и противно слышать», тогда как у нас вот какое благолепие: «мы не бежим от покойника, мы украшаем его в гробе, и нас *тянет к этому гробу*... мы поклоняемся телу и не отказываемся давать ему последнее поцелование и стоим над ним три дня и три ночи... Погребальные молитвы наши продолжительны и *не спешат отдать земле тело, тронутое тлением*». Последний восторг особенно выразителен. В другой своей книге Победоносцев жалеет, что знаменитую Эдиту Раден, как лютеранку, погребали по простому и быстрому обряду ее вероисповедания: «досадно было, что не совершится над нею церковная красота нашего отпевания» — не спешащего отдать земле тело, тронутое тлением... Обездолили старика: не дали нанюхаться!

Читатель, конечно, помнит крыловского «Медведя в сетях»:

— ...Из всех зверей мне только одному
Никто не сделает упрека,
Чтоб мертвого я тронул человека.
— То правда, — отвечал на то ловец ему, —
Хвалю к усопшим я почтение такое.
Зато, где случай ты имел,
Живой уж от тебя не вырывался цел.
Так лучше бы ты мертвых ел,
И оставлял живых в покое.

Это практическое нравоучение невольно приходит в голову, когда читаем победоносцевские елейные воздыхания о прелести покойничков. Он так любит и чтит трупы, что всегда готов действовать обращению неуважаемого им человека в уважаемый труп. *Sit divus, dummon sit vivus!* Опора и подстрекатель, адвокат и апологет смертной казни, Победоносцев был и остается несменяемым государственным палачом России в течение 25 лет. Десятки грубых, физических палачей, дело которых — бессмысленно, безответно, по приказу начальства, затянуть на горле осужденного роковую петлю, умерли в этот срок, сбежали, подали в отставку, сошли с ума, а он — все тот же: политический, моральный, религиозный палач-бюрократ — палач над казнимыми, палач над судьями, палач над палачами... Все тот же, — только череп совсем оголился от волос и, при безобразно оттопыренных ушах, окончательно уподобил старого государственного вампира подземному гному какому-то или нечистому духу из полчища Адрамелехова. Словно обритая летучая мышь в оч-

ках и на задних лапах. Когда у Победоносцева выпали последние зубы, он вставил себе, чтобы удобнее жевать преданную ему на съедение мать-Россию, не искусственные зубы, но, так называемые, сплошные челюсти, — и столь украсил себя этим сооружением, что даже привычные к нему люди не могут отделаться от чувства содрогания и отвращения. Вампирам свойственно сохранять в гробовом сне своем ту наружность и тот возраст, в которых случилось им «повампириться». Победоносцев никогда не был молод и всегда был микроцефалом. Чиновничество уже иссушило его, как сердцевинную перепонку гусяного пера, к тому периоду жизни, когда он стал у власти, чтобы пить кровь человеческую. Он жалок, противен и гнусен. Известно, что Григорьев, — впоследствии предатель Гершуни, — должен был убить Победоносцева на похоронах Сипягина. Григорьев проник в Александро-Невскую Лавру и — на кладбище — стоял от Победоносцева так близко, что мог выполнить свое намерение без малейшего труда. Но вдруг Победоносцев вынимает из кармана какой-то старомодный, как подъячие на сцене носят, футляр и начинает трубно сморкаться.

— Я не могу изъяснить, что со мною сделалось, — рассказывал потом Григорьев не только товарищам, но и суду. — Он вдруг сделался такой мерзкий, плюгавый, ничтожный, слезливый старикашка, что мне стало противно дотронуться рукою до осклизлого гриба, до гнилушки... Как-то ясно и повелительно сказалось, что посягать на такой шлюпик, значит ронять свое достоинство... А когда я овладел собою, победил в себе это настроение и решил все-таки стрелять, Победоносцев был уже далеко от меня... И я ушел с кладбища...

Я охотно верю в справедливость показания Григорьева, потому что — многими годами раньше — слышал подобное же признание от одного человека, совершенно чуждого революции. Ему случилось встретиться с Победоносцевым — один на один на прогулке в Крыму, в глухом уголке ялтинского шоссе...

— Когда я узнал его, моею первою мыслию было: вот брошу его с обрыва в море, и завтра вся Россия свободно вздохнет, и никто никогда не узнает, — подумают, что несчастный случай... Но — приблизился он, и такой в его глазах и лице выразился подлый ужас, так он мне показался скверно беспомощен и жалок, что даже тошно стало... Рука не поднялась.

Природа выработала для всего живого средства самозащиты — есть между тварями ее и такие организмы, что спасают себя от других тварей в борьбе за существование исключительно отвращением, которое они к себе вызывают. Но — каково же чувство-

вать себя в этой милой категории человеку, да еще не какому-нибудь, а человеку государственному, — в некотором роде, главной пружине великой империи, избранному сосуду «самодержавия, православия, народности».

Конечно, сосуд сосуду рознь: бывают сосуды в честь, надо быть и сосуду в поношение. Однако, не до такой же степени. что до сосуда человеку противно рукою дотронуться, хотя бы даже для того лишь, чтобы его разбить.

Г. Победоносцев очень счастлив на избавление от смерти. Стрельба Лаговского по тени — в окна квартиры Победоносцева на Литейном проспекте — была скорее демонстрацией, чем покушением. Однажды в Севастополе Победоносцев, всходя на пароход, оступился со сходни и упал в воду на глубоком месте. Нашелся добрый чудак, который его вытащил. Это — Осип Фельдман, известный гипнотизер. Затем между спасителем и спасенным произошел следующий выразительный разговор.

— Это вы меня вытащили?

— Я.

— Благодарю.

— Помилуйте! Мой долг.

— Ваша фамилия?

— Фельдман.

— Какого вероисповедания?

— Еврей.

— Креститесь.

Этот благочестивый совет был единственным знаком признательности, каким Победоносцев удостоил своего разочарованного избавителя... И — поделом! Не тащи из воды, что в ней плавает.

Победоносцев дебютировал пятью виселицами, воздвигнутыми на Семеновском плацу для осужденных по делу 1-го марта. Царь Александр III хотел оставить им жизнь. Победоносцев убедил его их казнить. Тогда Лев Толстой пишет царю письмо о помиловании и просит Победоносцева, как человека религиозного и переводчика «О подражании Христу» Фомы Кемпийского, передать его послание Александру III. Победоносцев отказывает наотрез, говоря, что он смотрит на Христа совсем не так, как Толстой: его Христос — не милостивец, но государственник-каратель. Письмо доходит до царя через генерала Червина, производит впечатление. Смущенный царь зовет на совет Победоносцева. Победоносцев властно и авторитетно требует виселицы, виселицы и виселицы... И воздвиглись виселицы!

1881 год — это эра торжества Победоносцева над Россией. 8-го марта 1881 года, в историческом заседании Государствен-

ного Совета, решавшем, быть или не быть на Руси земскому собору, старый вампир одержал победу, обеспечившую его владычество на 25 лет вперед и определившую ход внутренней реакции на два царствования. Тогдашняя речь Победоносцева, которую он заставил Александра III повернуть руль государственного корабля, чтобы ехать от реформ Александра II обратно к приказам Алексея Михайловича, в настоящее время уже не подспудный секрет, она была оглашена несколькими легальными журналами, например, «Былым»⁹. Это замечательная в своем роде программа, с последовательным оплевыванием всех гражданских начал, жививших государственную жизнь Европы после Великой Французской Революции и создавших громаду XIX века.

«Что такое конституция? Орудие всякой неправды, источник всяческих интриг».

«К чему привело освобождение крестьян? К тому, что исчезла надлежущая власть, без которой не может обойтись масса темных людей. Мало того, открыты повсюду кабаки, бедный народ, предоставленный самому себе и оставшийся без всякого о нем попечения, стал пить и лениться на работе».

«Что такое земские и городские учреждения? Говорильни, в которых видное положение занимают люди негодные, безнравственные, лица, не живущие со своими семействами, предающиеся разврату, помышляющие лишь о личной выгоде, ищущие популярности и вносящие во все всякую смуту».

«Что такое новые судебные учреждения? Новые говорильни адвокатов, благодаря которым самые ужасные преступления, несомненные убийства и другие тяжкие злодеяния остаются безнаказанными».

«Что такое печать? Самая ужасная говорильня, которая во все концы необъятной русской земли, на тысячи и десятки тысяч верст разносит хулу и порицание на власть, посеивает между людьми мирными и честными семена раздора и неудовольствия, разжигает страсти, побуждает народ к самым вопиющим беззакониям».

Таковы анафемы Победоносцева. Проклятие народному представительству, проклятие свободе рабочих классов, проклятие всем зачаткам самоуправления, проклятие суду скорому, справедливому и милостивому, проклятие вольной гласности. Проклятие всему, чем люди живы, и благословение всему, чем они мертвы.

Эразм Роттердамский сочинил когда-то «Похвалу Глупости» и Ульрих фон Гуттен — «Письма темных людей». Это были злые сатиры. Но на Руси в XIX и XX веке нашелся трубадур, который замогильным голосом воспеивает глупость и невежество совершенно всерьез и ставит их краеугольными камнями народного благосуществования, — более того: — объявляет их двигателями человеческого прогресса. «Есть в человечестве натуральная,

земляная (!) сила инерции, имеющая великое значение. Ею, как судно балластом, держится человечество в судьбах своей истории, — и сила эта столь необходима, что без нее поступательное движение вперед становится невозможно. Сила эта, которую близорукие мыслители новой школы *безразлично смешивают с невежеством и глупостью*, — *безусловно необходима для благосостояния общества*. Разрушить ее — значило бы лишить общество той *устойчивости*, без которой негде найти и точку опоры для дальнейшего движения. В пренебрежении или забвении этой силы — вот в чем главный порок новейшего прогресса». (Московский Сборник, 72). За этим откровенным объяснением в любви к богине Глупости Победоносцев указывает врагов человечества. Это не больше и не меньше, как *способность к логическому мышлению*, которая погубила бы общество, если бы Победоносцев не нашел ей, злодейке, противоядия в виде спасительного *предрассудка*. Все это мысли из Бэдлама, — скажет возмущенный читатель. Но таков и есть государственный идеал Победоносцева: рабски тихое, идиотическое отделение Бэдлама, управляемое и гонимое на работу хитрым, злым, эгоистически черствым ректором сумасшедшего дома — единственным, кому разрешается «способность к логическому мышлению» и истекающая из нее власть. Приемы просвещения для Победоносцева — *от лукавого*. От лукавого — отрицание возможной помощи «от Николы», стремление женщины к равенству с мужчиной и нежелание «быть его рабою», требование детей, чтобы родители были достойны того уважения, к которому вынуждают они свое потомство. Страница Феклуша, Кит Китыч, Брусков и Кабаниха — вот нелукавая соль земли, которую Победоносцев, если бы мог, возложил бы на лоно свое, чтобы — засыпав трюм государственного корабля «балластом», — «найти точку опоры для дальнейшего движения»... в белую Аравию, к Песьюм Главам и к фараону, который по ночам показывается из пучины морской со всем своим воинством.

Ненависть к мысли, ненависть в слову, холодно живущие в Победоносцеве, поистине изумительны. Он ненавидит слово, потому что оно — схема мысли, а мысль, способная к схематизации, для него уже узурпирующая его власти, уже революционные прерогативы, уже начало бунта личности против государственного Бэдлама, Феклуш-страниц, Кит Китычей и Кабаних, который он носит в душе своей (или, вернее сказать, в пару, заменяющем ему душу), как неопровержимый идеал. Я, право, недоумеваю, с каким чувством этот «глава православия» должен слушать начальные слова четвертого Евангелия: «В начале было

Слово, и Слово было к Богу, и Бог был Слово». Это основное христианское положение настолько противоречит всему мировоззрению Победоносцева, что, под громом этой могучей фразы он переживает навряд ли лучшие минуты, чем пудель-Мефистофель в лаборатории Фауста в ту таинственную ночь, когда ученый муж этот вздумал было заняться критикою именно глубокого стиха о «в начале бывшем Слове». В царствование Николая I Апраксин или Бутурлин откровенно заявили, что Евангелие следовало бы запретить, если бы оно не было так распространено. Победоносцев Евангелия не запретил, но упорно изгонял из России, душил ссылкой и тюрьмою всех людей, желавших жить по Евангельскому идеалу, как выброшенные сперва на Кипр, потом в Канаду, разоренные, несчастные духоборы¹⁰. А теоретиков, намеревавшихся исправить по этому идеалу истрепанную этику современности, отлучал от церкви, как Толстого, выживал из аудитории, как Соловьева, упекал под суд, как Григория Петрова, заточал в монастыри, как арх. Михаила. И, наконец, в своей статье о школе он прямо протестует против введения Евангелия в систему школьного образования. И, действительно, с тех пор, как Победоносцев имеет влияние на судьбы русского просвещения, религиозный элемент угас в последнем, окончательно сменяясь церковно-обрядовым. Место Евангелия заняли Филарет и Рудаков, священник и проповедник должны были посторониться пред законоучителем-дисциплинатором и инквизитором, считающим, как духовный педель, разы посещения церкви и учащими и учащимися, и за то ненавистным для них обоим. О «Великом Инквизиторе» Достоевского Алексей Карамазов говорил, что он не верует в Бога. Я не знаю, верует ли в Бога г. Победоносцев, да и не мое это дело, но смело утверждаю, что никто более Победоносцева не содействовал падению веры в Бога среди школьных русских поколений; никто не принизил так религиозности русского народа, обратив ее в пустую, сухую, но скучно и досадно требовательную государственную повинность и формальность; никто не дал вящего соблазна к бегству всех сколько-нибудь свободных умов в материализм и атеизм, для которых, однако, г. Победоносцев имеет дерзость вздыхать по средневековым кострам. Победоносцев при религии — это медведь при пустынноике. Воображая себя воителем за Бога в народе, он был величайшим богоубийцею во всей русской истории. Мы, люди позитивного знания и свободной мысли, презираем и ненавидим Победоносцева, как одного из самых ловких и опасных мастеров обращать церковь в государственный сыск, в мистико-полицейское орудие народного порабощения, в фортецию против стрем-

лений народной свободы. Но люди религиозного мирозерцания ненавидят и презирают его едва ли не еще страстнее, чем мы, отстоящие от них так далеко. Ненавидят и презирают за то, что Победоносцев — это воплощенное царство от мира сего — разбивает и пачкает их идеал своим лже-христианским самозванством, что религию он обратил в полицию и священника — в участкового надзирателя по духовно-государственной части. У Победоносцева нет больших врагов, как те немногочисленные священнослужители, которые искренно веруют в свое призвание и в возможность проводить в народ евангельский идеал. И, наоборот, их — истинно христианских священников — Победоносцев также ненавидит и гонит больше, чем всех позитивистов и атеистов, потому что их Христос и его государственная церковь суть взаимопогашения. У него нет другого орудия для борьбы с жизнью, как обман и самозванство от всеу приемлемого имени Христова, но он знает, он помнит, что оружие это — украдено из чужого арсенала; что Христос — против него; что, явись Он вновь на землю, пришлось бы г. Победоносцеву со Святейшим Синодом отлучать Его от церкви: ссылать в Соловки, изгонять в Канаду — и все это, опять-таки, не иначе, как ложно приемлемым именем и авторитетом Христовым. И отсюда — особая, мрачная, почти бесовская злоба зависти ко всем исповеданиям и лицам, которые приемлют имя и учение Христа не ложно, и для которых они — оружие из своего, законного арсенала. Возвращаясь к вопросу о вере Победоносцева, мне кажется кстати повторить язвительное слово Владимира Соловьева: «если и верует, то — как бесы у апостола Павла: — верует и трепещет».

Победоносцев — старый профессор гражданского права и воспитанник права римского — очень ловко умел подменить в государственном христианстве бога небесного богами земными и исповедание православия обратить в исповедание самодержавия. В его некрологе Эдиты Раден есть удивительно характерная выписка, где он умиленно доказывает православную религиозность каких-то монахинь тем приемом, что они необыкновенно искусно исполняют... гимн «Боже, Царя храни», сочиненный всего полвека назад по повелению Николая I жандармским генералом Львовым! Самодержавие — вот истинная религия Победоносцева, самодержец — *divus Caesar Imperator*¹¹ — вот его сотворенный кумир, его божество. В ряду его исторических симпатий первое место занимает Александр III; при нем, приявшем 8-го марта 1981 года взгляды Победоносцева, как правительственную программу, Победоносцев был всемогущ — почти как негласный диктатор Российской Империи. Из предшествовавших

Романовых XIX века Победоносцева ни один не удовлетворяет. Он холодно враждебен к памяти Александра II, как реформатора, разрушению творчества которого старик посвятил затем весь остаток своей жизни, — и надо отдать ему справедливость: успел в том за тринадцать лет своей диктатуры хорошо и совершенно: к 1894 году, когда скончался Александр III, либеральные реформы шестидесятых годов либо не существовали вовсе, либо влачили жизнь бледными призраками, формами власти без властного содержания. Старый вампир выпил из них кровь и заменил ее таким... содержимым, что не дай Бог и Войницкому нюхать и разбирать!.. Александра I Победоносцев терпеть не может, как государя, благосклонного к конституционным идеям. Реакционную разницу с эпохой Александра I в пользу идей самодержавия и национализма именно и определяет восторженный Победоносцев государственный «прогресс» при Александре III. Наконец, Николай I, — как типичнейший автократ из автократов — был бы Победоносцеву по душе («грозный и в полном сознании своей силы»), но он «бессознательно поступался русскими интересами во внешней и внутренней политике, оттого что не знал прошлого». Суждение совершенно справедливое, но — как бы вы думали, когда Николай I, по мнению Победоносцева, «бессознательно поступался русскими интересами»? Когда истребил Волконских, Оболенских, Трубецких, Пушкиных и окружился Бенкендорфами, Дуббельтами, Клейнмихелями, фон Фоками? Когда разрушением Варшавы и отменой польской конституции создавал на западной границе России вечного врага — будущее военное и политическое могущество Пруссии? Когда, неизвестно зачем, спасал Австрию, заливая русскою кровью пожар венгерской революции? Когда, не зная ни военных, ни экономических средств собственного государства, посылал легкомысленного Меншикова в Константинополь — вызвать султана, во что бы то ни стало, к войне, которая привела к Севастопольскому разгрому? О, нет, это все пустяки. У Николая для Победоносцева есть грехи посерьезнее этих: «вспомним, как в правление Паскевича население Холмской Руси безразлично смешиваемо было с польским населением, бессознательно предоставлялось ополячиванию и окатоличению». На наших глазах Победоносцев располячивал и раскатоличивал и эту «Холмскую Русь», и Литву, с изумлением узнавшую из циркуляров правительства петербургского, что она — русская и православная. Но изумление скоро превратилось в ужас, в отчаяние, к небу полетели вопли и проклятия смерти, потому что, как всюду и всегда, миссионерами Победоносцева были полицейская нагайка, казацкая

пика и солдатский штык. Еще у всех в памяти обличительная книга Леливы, с страницами, залитыми кровью литовских мучеников за свободу вероисповедания. Еще звучат в ушах наших вопли женщин и детей, растоптанных под сводами костела в Крощах... Не я буду говорить защитительные речи в пользу католичества. Но за ним есть хоть та честная сторона, что его воинственные реакции, по крайней мере, прямы и откровенны: «non possumus!»¹². Когда католический палач Карл IX избивает гугенотов в Варфоломеевскую ночь, папа римский не произносит речей о свободе религий, но служит благодарственный молебен за истребление еретиков. Не таков К. П. Победоносцев. Отправив палачей миссионерствовать среди холмских униатов и литовских «окатоличенных», он садится к письменному столу и не чернилами, но елеем из лампады пишет в свою статью о «Церкви»:

— Сохрани Боже порицать друг друга за веру; пусть каждый верует по-своему, как ему сроднее.

Позвольте остановиться на этой замечательной фразе. Она необыкновенно характерна для Победоносцева, как публициста известной среды, как учителя и глашатая сфер, которые русское общественное мнение в последнее время окрестило «Звездною палатой». Бессмыслицы и дикости этой удивительной компании обыкновенно поражают каждого среднего человека не столько надменностью и жестокостью мирозерцания, ими выражаемого, — эти скверные сословные черты, по крайней мере, объяснимы, — сколько глубоким неведением мира, на который они обрушиваются каким-то безмятежным непониманием действительности и будущего, истекающего из нее, как вывод из логической посылки. Эти люди живут в палатах с разрисованными окнами. Внутри здания света достаточно как раз настолько, чтобы хозяевам видеть в лицо друг друга и обслуживающих им лакеев, а наружу они видят лишь то и так, что и как позволяют рисунки окна. Г. Победоносцев — великий раскрашиватель дворцовых окон. Его сила — в наглости публицистической лжи, которую он ставит между глазами своих верующих и действительностью, смело и опытно зная, что они не могут, да и не пойдут проверять действительность, если бы даже могли. Его секрет в том — что перед каждым сильным мира сего он лжет на действительность то, что сильному мира лично выгодно и приятно слышать. О, не думайте, что он — извивающийся «льстец». Напротив: он весь откровенность, он — прямая душа, он — грубоватый ворчун, он — даже резкий обличитель...

Вот человек — честнейший из людей.
И как умом глубоким он умеет
Всех дел людских причины постигать...

Так рекомендовал одного своего, тоже грубоватого и резкого, «друга» храбрый генерал Отелло в трагедии, написанной небезызвестным английским писателем Вильямом Шекспиром, во взгляде на реальную правду которого, не во гнев будь сказано Л. Н. Толстому, мы с ним расходимся не менее, чем некогда разошелся с ним г. Победоносцев во взгляде на Христа. Но тогда — выигрыш чести и правды остался за Л. Н. Толстым, чего в шекспировском случае — увы! — сказать нельзя...

Я так устрою дело,
Что будет мавр меня благодарить,
Любить меня и награждать за то,
Что я его искусно превращаю
В полнейшего осла и довожу
От мирного покоя до безумья.

Это ораторствует уже не генерал Отелло, а «друг» — рекомендуемый им, как «честнейший из людей». И зовут этого «честнейшего из людей» — Яго.

Подобно Яго, г. Победоносцев — в глазах Звездной Палаты —

Человек честнейший и питает
Он ненависть к той грязи, что лежит
На всех делах безнравственных.

Подобно Яго, он — оракул добра и зла, нравственности и безнравственности. Убийство добродетели, по его слову, предпринимается, как дело чести и справедливости, а ходатайство за невинного обращается его клеветами в подозрительный порок, свидетельствующий о преступном настроении. «Он изо всех державных прав одну лишь милость ограничил», характеризовал настоящего льстеца наш великий Пушкин. Это — так. Это — огненное клеймо на лоб русского государственного Яго, — «честнейшего и нравственнейшего из людей», — Константина Петровича Победоносцева.

Он скажет: презирай народ,
Гнети природы голос нежный.
Он скажет: просвещенья плод —
Разврат и некий дух мятежный.

Мы слышали, как честный Яго поет гимны рабству, акафисты невежеству и дифирамбы глупости. Он мастер на эти песни, но иногда и в Бэдламе просыпается сознание, ведя за собою тени

сомнений и угрызений совести. Кажется, вот-вот — еще один момент просветления, и ни в чем неповинная Дездемона останется жива, а оклеветанный Кассио вернет себе напрасно отнятое лейтенантское место. Но — не надейтесь по-пустому! «Честный Яго» настороже и — для просыпающихся совестей у него всегда наготове морфий хорошо сфабрикованных лжей, рассчитанных на то, чтобы человек услышал как раз то, что ему выгодно и приятно слышать. Великолепнейший образец такой государственной лжи — выше приведенная речь Победоносцева в государственном совете 8-го марта 1881 года, которую он начал трагическим воплем:

— *Finis Russiae!*¹³

А затем принялся убеждать царя, правящего государством всего одну неделю, что Лорис-Меликов навязывает ему конституцию, и конституция есть гибель отечества. Мы видели, что попутно он оболгал земство, оболгал суд, оболгал печать, и все это безнаказанно.

Я охотно признаю победоносцевское мужество лжи талантом, из ряда вон выходящим. Из русских государственных знаменитостей кличку «отца лжи» имел когда-то Н. П. Игнатьев, и действительно, лгал виртуозно, с вдохновением. Но есть ложь Ноздрева, Хлестакова, Репетилова, и есть ложь Яго, Ричарда III, Эдмунда Глостера. Азиатская дипломатия Игнатьева все-таки больше питалась первою категорией, почему он сравнительно и рано вышел в государственный тираж. Победоносцев лгун второй категории: его ложь опирается на извращенное мирозерцание, рождающее доказательства, полные какой-то крокодильей убежденности, — она систематична и непоколебима, она — злобная карикатура правды, поставленной вниз головою и клеветнически перевернутой вверх ногами. Бывают фанатики своей правды; Победоносцев — фанатик своей лжи: он способен одновременно расстреливать прихожан в Кржах и зарекаться именем Бога от желания насиловать чьи-либо религиозные убеждения — соловьем разливаясь о «терпимости ко всякому верованию, свойственной национальному характеру нашему» и даже возмущаться другими вероисповеданиями, когда они не слишком-то доверчиво относятся к православному обряду и духовенству. Победоносцев описывает смерть Эдиты Раден: она скончалась лютеранкою, но Победоносцев и его друзья окружили больную православными иконами. «Как подозрительно смотрел на эту икону лютеранский пастор, посещавший больную! Конечно, он боялся, как бы православные не похитили тайно эту овцу из его стада. Напрасные опасения: — в числе православных друзей

Эдиты никто не решился бы насилловать ее совесть». Это очень жалостное зрелище: видеть, как обер-прокурор Святейшего Синода терпит несправедливое гонение от подозрительного пастора, — но, откровенно говоря, сей лютей гонитель имеет за себя смягчающие вину обстоятельства. Увидеть свою прихожанку среди отрицаемых ее церковью икон, — да еще у изголовья сидит сам К. П. Победоносцев, всемирно прославленный своею «неспособностью насилловать совесть», — тут есть от чего в отчаяние придти лютеранскому пастору. Еще диво, что он только «смотрел подозрительно», а не прямо бежал, куда глаза глядят, от опасности обвинения, что, мол, пришел переобращать «обращенную». В «Холмской Руси» и в Литве ксендзов лишали прихода и подвергали гонениям за гораздо меньшие прегрешения: например — за молитву над умершим, который прожил жизнь католиком, а при смерти узнал под нагайками победоносцевских апостолов, что кто-то и когда-то сделал его православным.

Итак, мы видели Константина Петровича Победоносцева угнетенным от гонителей из иностранных исповеданий. Перейдем в другую область и посмотрим, как Константин Петрович старался от насилий, творимых «свободною печатью». Заметьте: Константин Петрович, говоря о печати, всегда подчеркивает — *свободная печать, свобода печати* и т. д. Честный Яго, конечно, очень хорошо знает, что никакой свободы печати у нас нет, и никакая свободная печать, поэтому, невозможна. Но честный Яго пишет ведь для особой, специальной публики: для невежественных Отелло, которые столько же осведомлены, какая у нас печать — свободная или поработанная, — сколько знал Александр I — о крепостном праве в своем государстве. В 1819 году обсуждались в государственном совете меры к улучшению быта крестьян. Присутствовал Александр I и был очень взволнован прениями, которые он услышал. Волнения были чрезвычайно гуманны, мнения человеколюбивы, но, выходя из заседания, Кочубей с печальною улыбкою сказал Мордвинову: — А ведь государь-то процарствовал почти двадцать лет, не зная, что в России продают людей врозь с семьями, как скотину... Александра I Победоносцев не любит, Александра III обожал, но — как первый смотрел на крепостное право сквозь стекла, разрисованные современными ему честными Яго, так и Александру III подставлено было Победоносцевым разрисованное стекло для рассмотрения всех элементарных прав человеческого общества, в том числе и «свободы печати». Вот ужасы, которые, по уверению Победоносцева, обрушивает на каждого гражданина, или «верноподданного» страшная «говорильня», называемая «свобод-

ною печатью». «Всякий, кто хочет, первый встречный может стать органом этой власти, представителем этого авторитета, — и притом вполне безответственным, как никакая иная власть в мире. Это так, без преувеличения: примеры живые налицо. Мало ли было легкомысленных и бессовестных журналистов, по милости коих подготавливались революции, закипало раздражение до ненависти между сословиями и народами, переходившее в опустошительную войну. Иной монарх (sic!) за действия этого рода потерял бы престол свой; министр подвергся бы позору, уголовному преследованию и суду, но журналист выходит сух, как (?) из воды, изо всей заведенной им смуты, изо всякого погрома и общественного бедствия, коего был причиною, выходит с торжеством, улыбаясь и бодро принимаясь снова за свою решительную работу». Оставим в этой не весьма грамотной тираде в стороне смелую гипотезу о существовании мифически могущественных журналистов, делающих якобы пером своим революции: хорошо ведь известно, что в действительности-то — наоборот, не журналисты — революцию, а революция журналистов делает. Оставим в стороне еще более смелую гипотезу о бытии фантастических монархов, лишаящихся престола за то, что они делают революции против себя самих. Ограничимся скромною параллелью министров с журналистами. Не правда ли, прочитав грозный приговор Победоносцева министру, повинному в разжигании «ненависти между сословиями и народами», можно подумать, что фон Плеве, организатор Кишиневского погрома¹⁴, скончался, по меньшей мере, лишенный всех прав состояния («позор»)? Петр Николаевич Дурново, устроитель кровопролитных сражений с мирными московскими обывателями, сидит в доме предварительного заключения («уголовное преследование»)? Петр Аркадьевич Столыпин, герой Белостока и Седлеца¹⁵, трепещет на скамье подсудимых, ожидая рокового приговора («суд»)?.. Что касается способности журналистов выходить сухими из воды (не «как из воды»), тут г. Победоносцев прав: я сам, однажды, испытал присущность мне этого профессионального дара, когда не утонул в наледи Енисея. Но вот — зачем было мне попадать в эту наледь Енисея, которого я никогда и видеть-то не желал, — мне, по уверению г. Победоносцева, «безответственному» журналисту, властному более монархов и министров? Я испытал наледь Енисея, другие товарищи удостоились наледи Байкала, Лены, Оби, Иртыша, третьи мучились на Каре, в Акатуе, на Сахалине, в Якутске. Еще года нет, как храбрый генерал Реннекампф приговорил к смертной казни четырех «безответственных» журналистов в Верхнеудинске, и лишь про-

тест всей мыслящей России даровал несчастным жизнь — на условии вечной каторги! Торжествующий революционер-журналист в кандалном уборе, — угнетенный министр за завтраком на Фонтанке в «здании у Цепного Моста»¹⁶. Действительность — увы, слишком хорошо известная. Из тысячи «безответственных» журналистов девятьсот, наверное, прошли страду участка, тюрьмы, ссылки, кандалного звона, полицейского бойла, якутской ночи, каторжных и смертных приговоров. Эту действительность знают все, она непреложна. Но государственный Яго ставит ее вверх ногами, отражает ее в гримасничающем зеркале своей лжи и подносит сквозь разрисованное окно своим доверчивым Отелло: смотри! И...ответственных министров г. Победоносцев покуда в России не насадил, но ответственных журналистов посажено по всяким местам, «где не пахнет розами», сколько угодно. Живая правда России — ответственность журналиста при безответственности министра. Мертвая, гнилая ложь Победоносцева — твердит как раз наоборот.

Дальше.

«Журналист имеет полнейшую возможность запятнать, опозорить мою честь, затронуть мои имущественные права; может даже стеснить мою свободу, затруднив своими нападками или сделав невозможным для меня пребывание в известном месте... Судебное преследование, как известно, дает плохую защиту, а процесс по поводу клеветы служит почти всегда средством не к обличению обидчика, но к новым оскорблениям обиженного; а притом журналист имеет всегда тысячу средств уязвлять и тревожить частное лицо, не давая ему прямых поводов к возбуждению судебного преследования. Итак, можно ли представить себе деспотизм более насильственный, более безответственный, чем деспотизм печатного слова?»

Это писалось, — и бумага вытерпела! — в государстве, где пресса десятки лет задыхалась, как рыба, в когтях такого милого учреждения, как Главное Управление по делам печати. И когти эти еще не распустились, и Главное Управление по делам печати умирать еще не собирается.

Это писал — и бумага вытерпела! — человек с такою исключительною государственною властью, что, когда он бывал недоволен начальником Главного Управления по делам печати, то сменял сего сановника простым разговором по телефону с министром внутренних дел, словно неугодившего лакея.

Это писалось, — и бумага вытерпела! — в то время, когда в судах свирепствовал закон о диффамации, не допускавший оправдания подсудимого, так что им стыдились пользоваться даже и обвинители-то, которые посовестливее.

Это писалось — и бумага вытерпела! — среди прессы с завязанным ртом, почти обезумленной шестнадцатилетнею пыткой в победоносцевском застенке, под клещами и обухом таких заплечных мастеров, как Дурново, Горемыкин, Соловьев, фон Плеве. В суждениях Победоносцева об уличной, так называемой, маленькой и «желтой» прессе, есть банально справедливые приговоры (например, о шантаже). Но кто же создал-то эту гнусную прессу, столь характерную для восьмидесятых и девяностых годов России, как не он — Константин Петрович Победоносцев со своими высокопоставленными орудиями и со своими низкопоклонными помощниками и прислужниками? Кто загасил политическую мысль шестидесятых и семидесятых годов, убил грубою силою журнал и серьезную газету и бросил в публику, как суррогат общественного мнения, органы безразличной информации («большая пресса») и органы просто сплетни и кафешантанной грязи? Кто вырвал периодическую печать из рук Стасюлевичей, Салтыковых, Михайловских, Елисеевых, чтобы обратить ее в наложницу сутенеров, сидельцев питейного дома, молодцов кафешантаных, сыщиков или лакеев, угодивших Каткову илибo самому Победоносцеву искусным подаванием шубы? Кто низвел печать до такого откупного унижения, что прихлебатели г. Победоносцева, получив через него разрешение на журнал или газету, устраивали потом своеобразные аукционы с вымогательством, какой перекупщик даст больше? Кто создал «ответственного редактора» по назначению — эту наглуго, действительно, уж начисто и целиком шантажную тварь, которую Главное Управление по делам печати навязывало каждой редакции, как своего «излюбленного человека», шпиона и домашнего цензора, и вымогало для этого сокровища от издателей годовые жалованья — взятки в 12, в 18 000 рублей? Кто растлил театр, закрывая доступ на русскую сцену «Вильгельму Теллю», «Орлеанской Деве», «Веселым Расплюевским Дням», «Купцу Калашникову», скопя и урезывая «Бориса Годунова», но давая свободный рост опереттке, кафешантану и развратному фарсу — щекочущим орудиям нутряного, животного смеха, смеха до тупого самозабвения, смеха Иванушки-Дурачка? О, восьмидесятые годы, управляемые К. П. Победоносцевым, были, несомненно, очень целомудренную эпоху в правительстве русском. Они имели один недостаток: настолько боялись чуть было не состоявшейся конституции, что, ради забвения о ней, предпочитали — лишь бы не нашлось помещения и почвы для парламента! — обратить хоть все общественные здания Российской империи в публичные дома. Это была эпоха русского бонапартизма, повто-

рвавшая буквально все ухищрения Наполеона III, предпринятые после февральского *сoup d'etat*¹⁷ с целью отвлечь французов от политики и заставить их *s'amuser*¹⁸. Наполеон III не хуже г. Победоносцева понимал роль «инерции», которую «обыкновенно смешивают с невежеством и глупостью», в деле укрепления деспотизма и не стеснялся развиглять эту «инерцию» всеми зависевшими от него стыдными и насильственными средствами, включительно именно до рептильной прессы и гласных игорных и публичных домов, под псевдонимами кафешантанов. Наполеон III, говорят, был человек очень развратный. Г. Победоносцев, говорят, человек чрезвычайно нравственный... вроде Анджемо в шекспировской «Мера за меру». И, увы, все же высокая нравственность Победоносцева — родная дочь и верная ученица Наполеонова разврата и занимается одним с ним ремеслом.

Одурять толпу подложным званием, подложными учреждениями, подложною печатью, подложными удовольствиями, — вот что значит, по мнению Победоносцева, управлять народом. Всякое положительное знание для него отвратительно. Чернильница ученого натуралиста, психолога, социолога производит на него такое же впечатление, как чернильница Лютера — на искушавшего черта. В этом отношении замечательно характерны поистине мефистофельские книжки Победоносцева — «Учение и учитель». Это — по очереди кордегардия и католическая исповедаля: педагогический захват и тела и души ребенка. Гимн «натуральной» необразованности и проклятие «общему образованию». Протест против Евангелия в руках ребенка (не дорос!) и настойчивое требование слияния школы с церковностью. Само собою разумеется, что Победоносцев поклонник, защитник и покровитель подчинения школьной системы господству древних языков. Не могу удержаться, чтобы не привести одного из дивных софизмов, которыми он воспеваает им хвалу: «эллинская и латинская речь — языки, не употребляемые в живой речи, а потому почитаемые мертвыми, потому именно способны оживлять юным духом склад новой живой речи». Образцовое систематическое безобразие этой фразы — нельзя сказать, чтобы давало хороший пример влияния древних языков, — в которых Победоносцев, конечно, знаток, — на «способность разумно обращаться со словом» и на «склад живой новой речи». Не говорю уже о логической бессмыслице, в ней заключенной: мертво, потому что живо, и живо, потому что мертво. Опять — пристрастие к мертвечине, к гнили, к тлению, опять вампирская логика, диалектика упыря: если хочешь быть живым, питайся трупным прахом, — опять насмешливая параллель из Пушкина:

Горе! Малый я не сильный,
 Съест упырь меня совсем,
 Если сам земли могильной
 Я с молитвою не съем...

И вспомните восьмидесятые и девяностые годы: сколько «не сильных малых» погибло от упырей и вампиров русской школы, потому что не смогли «с молитвою есть могильную землю» науки Толстых, Катковых, Леонтьевых, Победоносцевых, Георгиевских. Сами вампиры сосали из молодого поколения живую кровь, а детей отравляли мертвечиной. И когда от вредной пищи поколения глупели и вырождались, — вампиры радовались:

— Слава нам! Вырастут — будут не общество, а стадо. И, стало быть, не будут бунтовать.

Другое орудие словесной науки для русского человека, — «наш церковно-славянский язык — великое сокровище *нашего* духа, драгоценный источник и вдохновитель *нашей* народной речи. Сила его, выразительность, глубина мысли, в нем отражавшейся, гармония его созвучий и построение всей речи — создают и красоту его “неподражаемую”». В восхвалении этого нового покойника Победоносцев так злоупотребляет местоимением *наш*, что хочется сказать ему: вот это верно! Parlez pour vous, mon cher!¹⁹ Как раз на почве «неподражаемых красот» церковнославянины, выкрученной словоизвитиями допетровских приказов и выправленной потом для XIX века в «периоды» реформой Карамзина, развилось то уродливое растение, что позорит русскую речь под именем бюрократического, казенного, канцелярского языка, — а в нем первый знаток, мастер и элоквенции профессор — Константин Петрович Победоносцев. Не надо читать сочинений Победоносцева, чтобы знать этот проклятый, фальшивый язык — дутый и напыщенный, как надпись на повапленном гробе. Достаточно вспомнить, что Победоносцев — или автор или редактор огромного большинства манифестов, указов, рескриптов, обращенных к России от имени трона. Я не знаю большего таланта широковещательно глаголать — и не сказать ничего: талант старинных подъячих, гордившихся умением написать бумагу так, чтобы на нее противная сторона не могла отписаться — по непониманию, что, собственно, в ней ищется и сказано? Из всех государственных окон, разрисованных Победоносцевым, эти его велеречивые фехтования правительственным словом, с величественными недомолвками и красноречивыми двусмысленностями, быть может, самые вредные и нечестные. Во всех государствах Европы законодательная власть старается прежде всего, чтобы законы страны и обращения к

стране от имени верховной власти звучали точно, ясно, просто и бесспорно. Только в России облакают их велеречием, которое так запутывает и затемняет их смысл, что они теряют половину своего значения и обязательности. Истина по русскому закону — ведь это в самом деле «результат судебного разбирательства»! Благодаря языку Победоносцева, — «лживому и темному языку кудесника» — каждый русский законодательный акт обращается в дремучий лес, требующий комментариев чуть не целыми томами, в спорное дело, полное уверток pro и contra, в междустрочность, обостряющую свирепость буквы закона по произволу ее исполнителя. Победоносцев — систематический отравитель русского государственного права. Слово ему необходимо только, как схема пролазной и увертливой лжи.

Мне случалось говорить с лицами, хорошо знавшими Победоносцева как преподавателя и воспитателя: качества особенно важные, потому что этот Ахимелех воскормил млеком разума своего многих стоящих у правительственного кормила России. И здесь — та же система обаятельной лжи. Человеку слабохарактерному он льстит, притворно ужасаясь опасностей его мнимой решительности. В ограниченные вялые мозги вбивает самолюбивые мыслишки, что ты, мол, настолько умен и глубок, что тебя никто из окружающих не в состоянии даже понять. В мелком властолюбце он развивает подозрительную обидчивость, страх и недоброжелательство ко всякому совету, отвращение ко всякому человеку, в котором сказываются живой ум и сильная воля. Победоносцев ненавидит католицизм, но в педагогической тактике сам он — типичный дисциплинатор католической конгрегации, умело и вкрадчиво, железною рукою в бархатной перчатке порабащивающий их в куклы с заводным механизмом. У них нет своего ума, у них нет своего звания. Они приобретают знание постольку, поскольку попускает его победоносцевский авторитет, а мы видели, какой ужас к знанию живет в этом человеке. У них нет мыслей, не испытанных цензурою Победоносцева, и слов, ею не пропущенных. У них нет чувств, которым они смеют отдаться с непосредственной искренностью, не справившись с Победоносцевскою маргариновою моралью. Воспитание Победоносцева — вот истинный источник анекдотического невежества учеников его, блистающих в Звездной Палате, их надменности, мнительности и жестокости. Нельзя безнаказанно учиться у вампира. Кого укусит вампир своим отравленным зубом, тот понемногу становится вампиром сам.

Есть оптимисты, которые и в аду найдут хорошие бытовые стороны. Им принадлежит честь изобретения пословицы, что —

«не так страшен черт, как его малюют!» У Победоносцева тоже имеются свои защитники, отстаивающие — правда, очень стыдливо — некоторые, якобы положительные черты этой мрачной и нелепой фигуры. Я не планеты Звездной Палаты имею здесь в виду, конечно, — тем-то поклонение Победоносцеву к лицу и масти, оно в них естественно и необходимо. Напротив, неестественно было бы, если бы они отрицали Победоносцева. Хотя и между ними, говорят, некоторые — за глаза и под шумок — без церемонии величают своего бывшего прецептора и пожизненного диктатора — *horribile dictu* — «сатаною»... Но мы, русские, сострадательные психологи, у нас необычайно развита страсть, над которою так издеваются французы, искать жемчугов в навозной куче, последних искр добродетели в сводне, целомудрия даже в Федоре Павловиче Карамазове, щедрости даже в Плюшкине и человечности даже в Победоносцеве! Но — увы! — пресловутый девиз Виктора Гюго «*le beau c'est le laid*»²⁰ терпит на Победоносцеве полнейшее поражение. Поверните вы Победоносцева спереди, сзади, слева, справа, осмотрите его с востока, юга, запада и севера, — никакого *beau* он предъявить не в состоянии: со всех сторон — безобразие лицемерной лжи, злости для злости, насилия, возведенного в принцип, глумления и кощунства над святейшими чувствами, мыслями и правами человечества; со всех сторон — бюрократический вампир, сосущий народную кровь и превращающий ее в канцелярские чернила. Мне говорят: Победоносцев бескорыстен. В переводе на российский обывательский язык эта аттестация обозначает: Победоносцев — не государственный вор. Конечно, в среде, где товарищами министра являются Гурки и К°, и где о самих министрах рассказывают легенды, будто — «заставили его икону целовать, что воровать больше не будет, а он в это самое время с иконы-то самый лучший бриллиант и выкусил» — конечно, в такой милой среде «не быть вором» — качество уже исключительное. Но в арабских сказках есть одна — о судье, который сделался бескорыстным, потому что получил во власть свою... золотую гору! Какой еще корыстности хотите вы искать в человеке, столь удовлетворенном, что может распоряжаться, по произволу, золотою горою? И аттестат ли бескорыстия — что, имея в распоряжении золотую гору, он еще и не мелкий вор?.. Притом еще одно замечание о государственном бескорыстии Победоносцева. Так точно, как он, бескорыстны и воронка и ливер, которыми переливают вино из бочки в бутылки. В сих инструментах ведь не застревает ни капли вина, — они все отдают бутылкам. Но, в результате их работы — бочка остается пустою досуха. Победо-

носцев, может быть, не грабил казну сам, но уже одна близость к Победоносцеву обогащала сотни крупных и тысячи мелких пиявок, присосавшихся к русской казне, и в них, как ливер в бутылки, переливал он всю жизнь свою народные деньги. Победносцев был, есть и будет центром попрошаек, вождедеющих государственного и общественного грабежа, искателей аренд и доходных мест, концессионеров, субсидированных опричников от печати и опричников просто, «контр-революционеров», раздающих народу патриотические картинки, которые типографии стоят гроши, а государству обходятся рубль штука, людей, стригущих страну под предлогом, что защищают самодержавие, стригущих веру в качестве ташкентцев православия, стригущих народ во имя девиза «Россия для русских». Я охотно верю, что Победоносцев презирает деньги. Кто же больше его видел, сколькой безмерной подлости и мрачной алчности они эквивалент? Но, презирая деньги, он горстями швырял их, как посев, на нивы самых низких, пошлых, грубых, темных слоев своей родины, и страшные посевы всходили кровью, разорением, муками и голодом русского народа. Пословицу, что «не так страшен черт, как его малюют», немцы произносят: «не так страшен черт, как его малютки». Вот именно эта версия хороша для Победоносцева, Сам-то он, может быть, и не государственный вор, но победоносцевские «малютки» ограбили Россию.

Говорят: Победоносцев умен... Об этом я даже и говорить не стану. Говорите о внешней наличности умственных способностей, позволяющих ему подделывать напоказ ту или другую сложную внешнюю форму софистической гимнастики, — это я пойму, это так. Но *умный* государственный деятель, направивший свою деятельность таким путем, что в государстве развалилось все то, что он охранял? Умный человек, посвятивший свою жизнь борьбе со всем, что мило и дорого человечеству, чем оно живо, на что возлагает оно свои упования? Умный человек, зачеркнувший движение жизни и узаконяющий гнилое упокоение могилы? Умный человек, прославляющий глупость и невежество, как основные опоры государства? Умный человек, мечтающий погасить солнце, любитель тьмы, способный цензурным veto зажать творческое «Да будет!» даже в устах своего Бога?!

Говорят: Победоносцев человек нравственный. Я уже указывал выше, какое именно нравственное разложение внесла в русское общество государственная деятельность высоконравственного г. Победоносцева. Что России в том, что за спиною г. Победоносцева не стоит какой-нибудь французской актрисы, балетчицы, либо даже какого-нибудь миньона, как — увы — слишком часто

случается в некоторых, иногда даже и близких г. Победоносцеву ведомствах? Это все равно, как если бы ставить г. Победоносцеву в общественную заслугу аттестацию: «непьющий». «По мне уж лучше пей, да дело разумеи!» — говорил дедушка Крылов, за что и ненавидел его учитель, из школы которого вышел, как лучший цвет ее... Павел Иванович Чичиков: один из типичнейших предшественников г. Победоносцева по подлогу живых душ душили мертвыми! Пьет ли, не пьет ли г. Победоносцев, путается ли он с г-жами Балетта и иными подобными, живет ли в аскетическом целомудрии, — что нам? Это г. Победоносцева личное, частное дело. Но не личное дело, а общественное преступление г. Победоносцева — та его «высокая нравственность», что отталкивала от общества и ввергала в позор прелюбодейную жену, которую пощадил от осуждения и камней Учитель, чьим любвеобильным именем г. Победоносцев, как хитрый узурпатор-самозванец, стал всемогущим в России. Не личное дело, а общественное преступление — те «внебрачные» младенцы, которых он топтал своею «высокою нравственностью» и истребил их — о, гораздо больше! — чем царь Ирод в Вифлееме. Не личное дело, а общественное преступление г. Победоносцева — его противодействие разводу по взаимному соглашению супругов, то есть его потворство фактическому разврату под номинальным, потерявшим всякий смысл и влияние покровом формального благословения церкви. Был ли на Руси когда-либо другой человек, внесший столько несчастья, срама, осквернения, сыскного позора в русскую семью? Был ли в христианской истории другой фарисей с поднятым камнем, более готовый бросить его в жертву — на зло Учителю, которого он цензурирует как великий Инквизитор?..

Да, лучше бы он пил как «Бурцев-ера, забияка», лучше бы он держал гаремы и серали, лишь бы он не был тем, что он есть — Победоносцевым, Анджемо из шекспировской «Меры за меру». Потому что — публичные дома, переполненные обманутыми девушками; игорные дома и кафешантаны, переполненные женами, гуляющими от ненавистных «законных» мужей, и мужьями, удирающими от ненавистных «законных» жен; воспитательные дома, переполненные результатами всего этого полового хаоса — ни в чем неповинными и на 90 % обреченными на смерть младенцами, — вот они, результаты «высокой нравственности» г. Победоносцева! Вот они! *Morituri, te salutant!*²¹ Где ты, вампир, там — смерть! О, великий фабрикант ангелов, величайший во всей вселенной! Слава тебе! Слава смерти и разложению, которым ты служишь! Слава тебе!

Довольно говорить о Победоносцеве. Может быть, оно и не довольно еще, но я не могу больше. И не потому, что нечего еще сказать. А потому, что руки трясутся, за горло судорога берет и — бешеный ужас встает в душе при мысли, что сорок четыре года жизни своей ты — стыд и горе тебе! — прожил под властью подобного чу... Я чуть было не написал: чудовища, — нет, в том-то и оскорбление, что даже не чудовища, но — «чучела»: не чудовище, а чучело терпели мы над собою, россияне!

А что «чучело Победоносцева» и «власть» суть синонимы... вы еще сомневаетесь?

Я — нет.

За мою характеристику Победоносцева меня, конечно, будут ругать. Быть может, даже не только те круги, для которых Победоносцев — российско-византийский папа без конклава, наместник Бога на русской земле. С этими последними дураками, — да они же, кстати, в большинстве, и государственные жулики, — мне говорить не о чем...

А прочим недовольным — скажу одно:

— Милостивые государи! Я — ученик гимназии Дмитрия Толстого, вдохновленной Победоносцевым, я — студент университета, раздавленного Победоносцевым, я — журналист в печати, изнасилованной Победоносцевым, я — член общества, обращенного Победоносцевым в публичный дом... Милостивые государи! Я глотал Победоносцева, как все вы, день за днем, год за годом, десятилетие за десятилетием... И вот dixi et animam levavi²²... А помните, как Щедрин переводил сие изречение? «Dixi et animam levavi: сказал и стошнило меня»...

Тошнота от Победоносцева не может быть красива и благоуханна, как розы Альфреда де Мюссе.

И — все-таки — одного вам всем желаю: чтобы все вы ее ощутили!

*31 декабря 1906 года
Paris*

Е. АНИЧКОВ

Победоносцев и православная Церковь

Ровно четверть века властвовал Победоносцев над православной церковью в качестве «добротного офицера», как назывался при Петре обер-прокурор Святейшего Синода²³.

Двадцать пять лет осуществлял Победоносцев этот знаменитый принцип — «Яве бе зде, что коллегииум не есть некая факция, тайным и на интерес свой союзом сложившаяся, но на добро общее повелением самодержца, его же с прочими рассмотрением собранные лица». И принцип этот еще растет и еще более давит. Централизация церковного управления, с одной стороны, и подчинение ее чисто светской власти — с другой, — все усиливаются. Они продолжают усиливаться и теперь, до самого последнего времени.

В 1888 году было циркулярно предписано секретарям консисторий непосредственно сносить с обер-прокурором. В каждой консистории, таким образом, меньший петровский «добрый офицер» получает особые полномочия. Он — ставленник и послушный слуга единого на́большего «офицера», держащего в своих руках бразды управления церковью. Церковь, как полк, оказывается объединенной одной властью. И разве такое положение вещей не должно теперь укрепиться этим предположением Предсоборного Собрания, по которому имущество, принадлежащее приходам, признается собственностью всей православной церкви вообще, а приход получает значение лишь управляющего вверенной ему частью этого имущества.

Главной основой всего управления православной церковью стало самодержавное усмотрение. Вот, что называл Победоносцев «наилучшими условиями для нового и свободного выражения коренного чувства народной души» *.

Самодержавие для православия и православие для самодержавия — к такой двойственной формуле должна быть сведена вся политика Победоносцева, как обер-прокурора Святейшего Синода, и пусть на его совести останется вопрос: что же собственно для чего? православие для самодержавия или самодержавие для православия?

Срослись вместе в железные путы эти два принципа. Двадцать пять лет давили они и терзали святую Русь. Ни шелеста, ни звука. Зверским гневом гудели они, и отвратительно стлалось по лицу земли их ядовитое шипение. Падали мертвыми листья жизни. Затхлой водой текли реки. Смердные и скучные потянулись 80-е и 90-е годы.

И вот, когда рассеялся тяжелый туман и затрепетала жизнь, — посмотрите: кругом пустота. Ничего не осталось. Где само православие? идите и ищите православную церковь!

* Обзор деятельности ведомства Православного Исповедания за время царствования Императора Александра III, с. 1.

И ее нет!

То, к чему привела политика Победоносцева, должно быть сформулировано именно в этих словах: «Нет больше православия». Если суждено России когда-нибудь вновь стать «святой Русью», то прежде всего она не будет православной. Убито в русском православии все, что еще оставалось в нем живого и плодоносного.

Мы слышим теперь и живые слова из уст православных священников. Заговорили и они в общем хоре освободительных речей. Но вслушайтесь, что говорят эти люди в рясах, переставши стоять у притолок самодержавных канцелярий. Вдумайтесь в речи этих еще немногих служителей православия, нетерпеливой рукой стерших со лба своего позорящую их печать: полиция!

Мы слышим от них о христианстве. Их влечет к христианскому социализму. Но вы напрасно будете спрашивать их о матери их исторической церкви. Раздавлено и истерзано в них сыновнее чувство. Церковь для них там, впереди, далеко в благородных чаяниях или позади, в лучезарных первых веках христианства, а русское православие, эта седовласая многострадальная церковь-мать и питомица с ее былыми мечтами о третьем Риме и о своем священном предании, сохраненном в чистоте и любви, к ней уже совсем холодны сердца. Мачехой кажется она. Не забыто ее старое преступление — эта фанариотски-синодально-победоносцевская ложь. И не осталось больше почти вовсе никакой надежды смыть эту пятнающую скверну: она зловеще кровавится, и все сочтется гной из ее ран, и нет к ней любви, и нет ей прощения.

Почему?

Потому что такой вышла она из рук Победоносцева.

Потому что с сухой страстью фанатика и маниака этот петровский «офицер» лелеял в ее лоне именно вот старую заразу фанариотски-синодальной бесстыжности.

Четверть века болела церковь засеченной рабой, и рабские в ней холились чувства и привычки. Кабатчик — церковный староста, всевластные консистории — помойная яма доносов и кляуз, семинарии — без тени научного живого слова, какие-то арестантские отделения, воспитывающие сыщиков, монашествующие архиереи, коленопреклоненные перед губернаторами, а сверху канцелярщина синода, бездушные и властные предписания, скверна, воссевшая на святом месте соборности.

А среди всей этой мглы и стыти юркое, ехидное, бездарное, невежественное, человеконенавистническое, изрыгающее запах

застенок миссионерство. Как в волнах блаженства, ныряло и прыгало гадко кривляющееся миссионерство с своими палаческими ухватками и мыслями злодея в этом хаосе безверия и лжи, и росла ненависть от каждого его прикосновения, и сочилась кровь русского народа.

Духовные писатели любят жаловаться на холодность к вопросам веры, и им вторят позитивисты, празднующие распространение рационализма.

— Не стало Бога на Руси, — говорят одни, — забыли Бога!

— Не надо нам Бога, нет Бога, — говорят другие.

Но ширится и цветет святостью по всему лицу русской земли живая вера народная. Она творит себе новые формы; вдумчиво и искренне ищет она откровения правды; возникают новые верования и зовут себя «евангелическим христианством», «духовными христианами», «христианской общиной всемирного братства», все более сближаясь друг с другом и все более чувствуя себя отдельными руслами одного общего живого потока.

То, что было уготовано в деле обновления веры в XVII и XVIII веках, все то, что звалось хлыстовством²⁴, духоборчеством, иеговизмом или десным братством²⁵, пришедшим к нам из самой светлой поры немецкой реформации — баптизм — все это претворилось и окрепло в конце XIX века в России.

Целые полчища мучеников питали эту живую веру своей железной стойкостью и своим самопожертвованием. Новые Минеи-Четы когда-нибудь возникнут, чтобы описать все подвиги современной нам народной веры. Нет, если брать весь русский народ целиком, а не только то, что называется обществом, если говорить о народных массах, о всей всенародной и разноплеменной Руси, включая сюда и армянство, и татар, и даже балтийцев, — то придется признать, что вся эта Россия не была и не стала безбожной в XIX веке. Она жадно искала Бога, она ласкала мысль о нем в сердце своем, и оттого-то величайшие писатели русской земли — Достоевский и Лев Толстой, так глубоко религиозны. Но останься жить Достоевский, без сомнения, и он, как Лев Толстой, повернулся бы к многообразной и обновляющейся живой вере сектантов и диссидентов.

Среди светлых волн религиозного воодушевления застыло и замерло православие в цепких пальцах кощера-Победоносцева.

А надежда занималась и для православия. И оно могло бы оживиться. И в нем зажурчали струи живой воды.

«Окружное Послание»²⁶, казалось бы, должно было излечить его самую большую вековую рану. Ожидались братские объятия после долгой вражды. Расколовшееся надвое православие, ио-

сифлянское древнее благочестие, с одной стороны, и фанариотская никоновщина — с другой, — готовились протянуть друг другу руки. Учение об Антихристе староверов было поколеблено. Гражданская власть в их глазах перестала казаться «богоотчужденным неким зеркалом». Господствующую церковь усумнились называть «блудливой Иезекиилью».

Ведь первоначальное понимание «Окружного Послания» звучало именно так: нет антихриста, и, значит, никонианская церковь может быть истинно православной.

Не надо, стало быть, сумрачной беспоповщины или беспросветного отчаяния бегунов: священство не умерло. Оно живо у никониан, и с ними возможно воссоединение, а если оно возможно, то и желанно. Особенно, казалось бы, единоверческие храмы могут широко открыть свои двери перед приемлющими священство. Здесь соблюдаются и «двуперсти», и «посолоние», здесь старые книги и древние обряды. Почему же не расцвело единоверие? Почему примиряющие слова «Окружного Послания» не привели к братскому соглашению?

Ответов надо искать все там же. Он прозвучит все тем же именем, родным сухой синодальной канцелярщине именем терзавшего церковь ее тирана, именем поставившего ненависть на место любви, — Победоносцева.

Само единоверие даже окончательно зачахло. Напрасно мечтало оно о переустройстве прихода, об освобождении от православных констисторских пут. Оно было приговорено прозябать какой-то хитро-тупой ловушкой для приверженцев древнего благочестия, какой-то загнанной падчерицей православной церкви; и ничего не было ей дано; все осталось мертворожденным и ненужным.

Напрасно единоверцы из разных мест России, собиравшиеся на Нижегородской ярмарке в 1877 и 1878 гг. прочили, — и уж который раз, — Святейший Синод предоставить единоверчеству больше прав и дать ему возможность непосредственно сноситься с староверами. Напрасно просили они, — и это самое главное, — чтобы Святейший Синод «нарочитым актом» «раскрыл смысл клятв, положенных Московским собором 1667 г.²⁷, и тем успокоил совесть как всех, находящихся в союзе с православной церковью на правилах единоверия, так и раскольников, ищущих единения с православной церковью». Ответ был получен, разумеется, самый отрицательный, повторена была только вновь казуистика ответов московского митрополита Платона 1800 года. Опять было заявлено, что правила единоверия даны лишь «по снисхождению православной церкви для облегчения отторгшимся от нее пути возвращения в лоно церкви».

Никаких поблажек. Подчиняйся и дрожи. Никаких слов примирения. Как выражается официальный документ, это было бы «вящим облегчением отщепенцам, упорствующим возвратиться в недра церкви». Злые и неумные слова.

И отсюда долгая борьба среди староверов против «Окружного Послания». Отсюда образование неокружников и дальнейший разлад и дальнейшая распря.

Приемлющие «Окружное Послание» готовы были взять назад учение об антихристе, но именно фанариотски-синодально-победоносцевская церковь не хотела сдержатъ своей злобы, она не хотела взять назад это легкомысленно брошенное проклятие 1667 года, хотя давным-давно оно было признано роковой ошибкой в самой строго-православной среде.

И тогда-то вошел в силу другой вывод из «Окружного Послания». Он также прозвучал надеждой; но эта надежда, как все прочие порывы живой веры в конце XIX века в России, прозвучала теперь уже вдали от официальной церкви, прозвучала призывом: прочь от нее! подальше от нее! только бы не с ней! Этот другой вывод их «Окружного Послания» говорит: Антихриста нет, но нет и русской православной церкви. Никонианство не может дать благоденствия священства. Значит, должна быть основана полная и самостоятельная чисто старообрядческая иерархия. Вновь единственным выходом была признана австрийщина, это белокриницкое православие, пастырей которого долгие годы мучило наше правительство в казематах Суздальского монастыря. Австрийщина²⁸ должна была оживиться, и никакие происки русских посланников не могли остановить ее рост.

Каким-то злорадством дышат эти заявления официального документа, описывающего деятельность Победоносцева при Императоре Александре III, что две трети русских староверов принадлежат к австрийщине, что этот толк старообрядчества всего ближе к православию, но что именно поэтому «секта эта представляла весьма много затруднений для православной церкви». Какая-то жестокая нелепость чувствуется в преследовании именно австрийщины и всего упорнее и непримиримее, причем чуть ли не покровительством звучат слова о гораздо более враждебных православию толках: о беспоповцах и беглопоповцах.

Одна часть верующих отвергла учение об Антихристе. Вместе с другою частью верующих, с той, которая осталась на лоне установленной церкви, всей душой стремится она забыть проклятие 1667 года. Не надо больше ненависти, — говорят и с той, и с другой стороны. И со стороны отколовшихся от церкви это говорят целые две трети. Но они не хотят подчиниться «петров-

скому офицеру», каждый давит и оставшихся в церкви; они хотят настоящего, «живого выражения коренного чувства народной души», подчиняющегося, впрочем, целиком всему священному преданию церкви. И вот за это-то неподчинение «петровскому офицеру» да пребывают они раскольниками, ересью, вредной сектой, пусть полиция врывается в их молельни, пусть в развалинах падают их храмы, пусть священники их называются лжеиереями, пусть, как преступники, должны они скрываться, а попав в руки «офицера», идти на долгие долгие годы в заточение, без всякого суда, вечными узниками, сброшенными живыми в могилу.

В 1892 г. Константинопольский Патриарх, — мы это знаем достоверно, — был готов признать духовный сан основателя белокрыницкой иерархии митрополита Амвросия и правильность совершенных им рукоположений. Православные греки явились даже в Москву с проповедью примирения. Фанариоты как бы хотели заглазить нанесенное ими при патриархе Никоне зло. Но настороже стояла канцелярщина. Заскрипели перья на Сенатской площади. Зашмыгали курьеры между министерством иностранных дел и Святейшим Синодом. И там, в Константинополе, русский посланник Нелидов убеждал патриарха отвергнуть просьбы доброго числа русских верующих людей.

«Петровский офицер», деятельно занятый клеветой на русских революционеров в Америке и в Европе, мечтавший о возможности убедить иностранные правительства выдавать русских политических беглецов, заставил почувствовать староверов, что рука его хватает и за пределами Русской империи.

Теперь кой-какие робкие и коварно неискренние шаги уже сделаны в сторону примирения русской государственности с старообрядчеством. Их перестали называть раскольниками, распечатали их молельни, пообещали им разные льготы, но ведь главного даже и не обещано. Победоносцевская политика в самом главном осталась в силе. О воссоединении двух православных церквей не идет даже речи.

Льготы староверам, — не надо забывать этого, — явились следствием лишь того, что министра внутренних дел фон Плеве пленил политический консерватизм приверженцев древнего благочестия. Не из Синода, а из министерства внутренних дел вышли обещанные льготы. Не будущие судьбы православия, более светлые, при забвении старой распри, явились руководящими в деле веротерпимости. Напротив, православие, скованное оберпрокурорским надзором и руководством, тотчас же стало вливать яд, тотчас же стало требовать ограничений, даже пре-

следований, и мы вернулись в сущности вспять; все осталось почти по-старому.

Эти перипетии взаимных отношений австрийщины и государственной церкви ярче, чем что-либо, определяют истинный характер всей двадцатипятилетней деятельности Победоносцева.

Строятся великолепные храмы и в Киеве, и в Москве, и в Прибалтийском крае, и где-то далеко на севере, у самого полярного круга, и в горных местностях Кавказа, за первые тринадцать лет победоносцевского управления церковью возникает 143 новых монастыря, число архиереев увеличивается на целую дюжину, с гордостью провозглашается о присоединении к православию за пять лет каких-то двенадцать с половиной тысяч волынских чехов, а в самом сердце России бессмысленное упорство и преступное властолюбие не дают совершиться, наконец, после стольких бедствий ставшему возможным, церковному единству.

Блеск только внешний. Жалкая позолота на поверхности. Пышные фразы о «великом оживлении церковной жизни». Раздувание в историческое событие каких-то усовершенствований в церковном пении, каких-то полупризнанных чудес и неудачных мощей, а внутри гниль и разложение, — не только коснение и застой, а еще отвратительная ложь, жестокость, распад и гибель всех надежд, окончательный упадок живой веры, истинная мерзость запустения, вполне очевидная для всех и несомненная.

Укрепление раскола — вместо сближения, массовые отпадения от православия в сторону евангелических сект, развитие баптизма и все возрастающее презрение общества к установленной церкви — вот, в кратких словах, история православия за последние четверть века; вот история деятельности обер-прокурора Победоносцева.

И так во всем, чего только ни касался Победоносцев. Трупный запах шел от его дыхания. Смертью веяло от этого живого мертвеца. Упыри не только народная фантазмагория.

Та же затхлая гниль и в деятельности Святейшего Синода по отношению к начальному образованию, этом мертворожденном введении пресловутых церковно-приходских школ. То же можно сказать даже о «неисчислимых царственных милостях по отношению к православному духовенству». Даже тут не достигнуто ничего. Не дошли до сельских батюшек эти неисчислимые царственные милости. Такими же нищими и невежественными, запуганными и жалкими пережили они «эпоху великого оживления церковной жизни», какими были исстари. Даже хуже.

Но раньше, чем говорить о церковно-приходских школах и судьбах приходского духовенства, было необходимо остановить-

ся именно на этом вопросе о взаимных отношениях древнего благочестия и фанариотски-синодально-победоносцевского православия. Восемнадцатый век завещал возможность объединения всех православных в одну церковь; сделать это воссоединение возможным, исправить роковую ошибку, обезвредить страшное проклятие, вырвавшееся и с той, и с другой стороны, — вот миссия, лежавшая на правителях православной церкви в конце XIX века, миссия — истинно историческая. Фанариотство перестало давить. Константинопольская церковь, с своей стороны, готова была взять назад те свои требования, которые столько зла причинили России два века тому назад. Казалось бы, неминуемо должен был окончиться фанариотский период русского православия.

Задача, лежавшая на русском церковном управлении, была задача даже мировая. Ожидалось благо и ликование даже во всей вселенской восточной католической церкви.

И ничего... Ничего, кроме злобы и лжи.

Петровско-синодальное церковное управление русской церковью в руках Победоносцева оказалось неспособно к какому бы то ни было творчеству. Живые струи насущных церковных потребностей замутил ищущий раздоров и требующий мертвечины подчинения петровский «офицер». В этом его преступление и перед церковью, и перед всем христианством.

И в этом же и его бессилие, потому что, если здесь в пределах русского государства он продолжал карать австрийщину, если он мог преследовать ее и за границей, то она все-таки росла, она все-таки развивалась и против его воли из отдельного течения старообрядчества стала теперь настоящей его силой.

Но вот теперь от этих более общих задач, которые предстояло разрешить церкви, обратимся к сравнительно мелкому, к тому, что делалось в ней самой, в самом ее лоне, обратимся к ее домашней интимной истории в «эпоху оживления церковной жизни во всех ее сторонах и проявлениях».

У коренного православного духовенства были и есть три великие нужды: выход из подчинения консисторскому усмотрению и связанная с ним реорганизация прихода. Это — раз. Вторая — насущная потребность — в образовании. Священнослужитель стремился выйти из ветхой бурсацкой зубрежки к свету просвещения. Третья великая нужда — это избавление духовенства от необходимости быть своим собственным сборщиком податей, от унижения вымогательства за требы, от этих пьяных разъездов за подаванием, раздражающих самих священнослужителей.

При Победоносцеве консистории стали еще более канцелярскими. Мы видели, что изобретен был еще новый способ доноси-

тельства. Якобы благодетельствованный батюшка, жалкий и запуганный, остался тем же подневольным и неизбежным доносчиком и предметом доносительства, как и прежде. И даже больше. Рядом с ним все увеличивалось количество начальства. Оно все продолжало запугивать и развращать его. Вот приносят в деревни казарменно-полицейские нравы земский начальник из прокутившихся офицеров и урядник, глупый унтер, спившийся с кругу семинарист или бывший городской. И со страхом озирается батюшка, неуклюже изгибаясь под лозой начальства, приказывающего и требующего, в согбенной позе подчиненного, которым помыкает каждая местная и захожая власть. Бил и бьет батюшка земные поклоны перед консисторским начальством из чуждого приходской жизни черного духовенства, кланяется направо и налево перед администрацией, требующей от него на пользу себе морального влияния на население, которого — всякий батюшка это прекрасно знает, — он вовсе не в силах оказывать, особенно потому, что это моральное воздействие сводится к оправданию зачастую даже незаконного насилия.

Моральное влияние! Да, конечно, его не могло быть. И в полном отсутствии его и заключается новый показатель внутреннего распада церкви. Нет у жалких батюшек ни знаний, ни уверенности, ни убеждений, ни уважения к себе: нет слов; нет мыслей; нет чувств. Откуда?

Что дала семинария, кроме бурсацкого разгула, казуистики, схоластической выучки и пономарского четья-петья? И посмотрите в официальном документе, великолепно описывающем подвиги православия в эпоху его воображаемого расцвета!.. В том отделе, где повествуются синодальные мероприятия по отношению к семинариям, чуть не каждый параграф начинается словами «воспрещено». Воспрещали семинаристам отлучаться в будни из семинарии, воспрещали им читать книги, кроме тех жалких учебников и так называемых религиозно-нравственных пособий, которые там только и остались после последней уже победоносцевской цензурной чистки. Что же мудреного, что запуганными и ничтожными, в каком-то тумане невежества и умственной огрубелости выходили молодые батюшки из семинарий, что такими же, как их застрашенные отцы, вставали они еще из-за бурсацких парт, в самой цветущей молодости.

Все живое и юношеское, все, что было способно чувствовать и понимать в семинариях и духовных академиях, все это искало ответов на запросы в светской литературе, в светской среде, среди братьев и родных, гимназистов и студентов, казавшихся и под палкой толстовско-дедяновского режима такими свободны-

ми и начитанными, такими блестящими и полными надежд. Только два исхода питомцу семинарии: либо смотреть на церковь, как на мачеху, явно или скрытно отчудиться от нее и, назвав ее «исторической церковью», возмечтать о христианстве и отвлеченной церкви, соборуюсь с светскими, расширять свое сознание общим современным умственным достоянием, либо махнуть на себя рукой, на все свое развитие, на искренность и продуманность своих знаний и убеждений, ринутся с головой в омут приходского прозябания или еще — ну, тут ждет столько поощрений — занять свое место расторопного раба среди рабов в шеренгах подсинодального — полицейски-церковного воинства, воинствующим и озлобленным палачом их преступников, карать сектантов, интеллигентов, католиков и евреев. Гнить среди общего гниения, разлагаться в общей повальной могиле или спасти свое духовное тело, выйдя из смрада и осторожно спасая себя от дыхания скверны.

Стать соратником подсинодального рабства, однако, лишь могло быть, конечно, выгодно. Так, напрасно официальный документ говорит нам, что было «обращено особенное внимание на улучшение быта и материального положения духовенства».

Вчитайтесь в отчеты Синода. Да, высшее духовенство, духовенство миссионерствующее, нарочито посланное на обрусение эстов и латышей, на борьбу с так называемым фанатизмом католиков в западном крае, на искоренение крамольников-штундистов. Да, сделаться синодальным чиновником в столицах и провинции кормиться около семейных раздоров, хлопот по смешанным бракам, барахтаться в тине консисторских интриг, — вот где выгода, вот та часть духовенства, которая, судя по отчетам, — и все ведь знают, что это так, — оказывается благодетельствованной.

Но ведь из сорока тысяч священников какое огромное большинство сидит на тощих приходских землях, среди голодающего и обнищавшего населения! Вот что сделано для них: под 1893 г. в отчетах Святейшего Синода значится, что «этот год был особенно счастлив в жизни духовенства»; счастливым он назван потому, что тут впервые идет речь «о назначении жалования духовенству всей империи». Казалось бы, наконец! Казалось бы, вот настал выход из низости существования на подаяния и вымогательства за требы. Святейший Синод запрашивает ежегодно 250 т. рублей «дотоле, пока будет назначено содержание духовенству во всех епархиях России». Но опять громкие слова и ничтожество в сути дела. Так характерно, что департамент государственной экономики с своей стороны сразу понял ничтожество

этой суммы, и кроме ежегодных 250 т. рублей обещал обер-прокурору синода более крупную сумму, если он ежегодно будет о ней ходатайствовать... И четырнадцать лет прошло с тех пор, как синод впервые озаботился о таком обеспечении сельского духовенства, которое уже давным давно осуществлено в маленькой и бедной единойверной нам Греции. Заботами департамента государственной экономии откровенно и дельно ответившего на гнусное синодальное велеречие, Синод ежегодно получает в свое распоряжение 500 т. р. Но где назначения жалованья для духовенства всей империи? Четырнадцать лет прошло совершенно даром для достижения той цели. Как всегда — ничего.

Пусть подымут свои благородные взоры сельские батюшки к высоте синодального престола, когда под громким названием: «заботы о назначении жалования духовенству всей империи» в их тощие кошельки попадает кухарочное 10–20 рублевое жалование, и, как встарь, пойдут они запрягать свою лошадку, чтобы ехать за подаянием-вымогательством в нищие деревни своих приходов.

Победоносцевым был, правда, измышлен еще один способ кой-какого кормления духовенства.

На официальном языке этот способ называется: «участие духовенства в деле начального образования». Мы подошли теперь к влившему столько яду в русскую жизнь, вселившему в народное сознание столько ненужного раздражения вопросу о церковно-приходских школах. Число церковных школ от 1881 г. до 1894 г. возросло с 4 064 школ до 31 835 школ. Казалось бы, вот хоть бы тут полный успех, вот здоровая деятельность, вот польза для населения.

Повторять все аргументы против церковно-приходских школ или хотя бы то, что пробивалось в печать против них даже сквозь совсем приплюснутую цензурой прессу, — уже значило бы показать мнимость этих успехов. Останемся, однако, на почве интересов самой церкви. Только на ней. Ни шагу дальше. Пусть ни слова вообще о полезности для народа церковных школ. Воспользуемся сведениями только из одного синодального источника, и вот даже тогда обнаружится воочию, насколько и эта деятельность руководимого Победоносцевым Синода была в сущности деятельностью бумажного празднословия, ненасытного и нелепого властолюбия и оттого на самом деле деятельностью бесплодной для тех задач, которые были поставлены вначале.

Мечтою Победоносцева ведь было вовсе не основание новых ста тысяч начальных училищ. Ничего подобного. Мечталось ему, что можно будет принудить земство передать уже существую-

щие школы в церковно-приходские руки. Победой можно было бы похвастаться только в том случае, если бы удалось убедить в лице земств само общество передать дело начального обучения церкви. Но этого-то и не случилось. Даже реакционные земства, если и пошли на это, то немедленно разочаровались, и в самом корне придуманная Победоносцевым реформа не удалась. Не удалась из-за недоверия к высшему церковному управлению и тотчас же обнаружившейся его неспособности.

Не захотели. Просто не захотела вся Россия, не только либеральная, но и консервативная, иметь дело с Победоносцевым. Это был настоящий личный провал, нечто вроде голосования недоверия. Серые помещики, мещане и крестьяне немедленно поняли, насколько мало реформа Победоносцева имела в виду народное благо, насколько мало она была пригодна даже для самого укрепления в народном сознании устроев веры. Так сразу стало ясно, что земские школы ни в коем случае не могут быть названы рассадниками неверия, а ведь именно это-то и было главным доводом, пущенным в ход Победоносцевым. Замена земских школ церковно-приходскими представлялась следствием вот этого положения. Но не убедить ложью даже такое забитое общество, как русское. Подставить ложь вместо правды так заманчиво и так легко. Просто солгать. Коротко и ясно. Однако, по-видимому, и для лжи нужно хоть какое-нибудь творчество, а не одно только внутреннее бессилие.

И вот, — *risum teneatis, amici*²⁹, — фанатический поборник невежества, такой ненавистник всякого образования Победоносцев под давлением, с одной стороны, не желающего иметь с ним ничего общего населения, а с другой стороны — министерских педагогов, ужаснувшихся от чересчур уж очевидной педагогической развязности Синода, — становится распространителем просвещения. Множатся церковно-приходские школы, но не как замена светского начального обучения, а просто как школы второго разбора, хуже поставленные, чем земские, навязанные народу, стоящие на промежуточной стадии между правительственной земской школой и школой грамоты, маленькие рассадники кой-каких элементарных знаний, школы, что называется, хоть какие-нибудь, эти «все-таки» школы.

И в официальных отчетах Синода есть о них очень любопытное признание: «Материальная необеспеченность народных учителей, зависевшая от сравнительной скудости денежных средств церковных школ, была причиной того, что учителя, правоспособные не долго учительствовали в церковных школах и уходили на другие должности, сравнительно лучше вознаграждаемые;

поэтому за рассматриваемое время церковные школы испытали недостаток в правоспособных учителях».

Вот сквозь обычное бахвальство вырвавшееся признание своего бессилия в самом главном. Опять внутреннее убожество при чисто внешнем и только кажущемся великолепии. У церкви не нашлось людей, способных учить. Отчего? От безденежья или от безлюдья? Не нужно особенных усилий ума, чтобы понять, что основная причина именно — безлюдье.

Были бы у синодально-победоносцевского православия люди, — люди вообще, люди в составе администрации, люди как общество верующих, прихожане и ревнители, живые люди в качестве помощников в клире и в братствах, были бы, конечно, и деньги для школ помимо лившихся сверху субсидий, было бы тогда и предложение на места учителей и учительниц.

Безлюдье, осиротение вообще от людей, отторженность от всего, что зовется человечеством, мрачное одиночество среди миллионов православных, — вот сущность всей истории, всей деятельности, всех неудач и всего внутреннего гниения православной синодально-победоносцевской церковности.

И так жалко, таким наглым хвастовством отзываются отчеты целого множества разных обществ, вызванных к жизни Победоносцевым во всех концах огромной России. Сколько их? Как их там звать? По отчетам их бы нетрудно перечислить, но дело именно в том, что никто о них ничего не знает, никто о них никогда не слышал. Безлюдье и в них и около них.

Так и видится большой стол, покрытый зеленым сукном, старательно разложенные каким-нибудь чиновником листы бумаги и тонко очиненные карандаши. Пахнет скукой какого-нибудь губернского учреждения, и медленно съезжаются члены с приторно улыбающимися лицами. Грузно восседают высшие церковные чины, экзальтированные чиновничьи барыни, вице-губернаторы и директора гимназий. И тянется вялое, томительное переливание из пустого в порожнее с жалобами на безденежье, с злобным шипением на крамолу, без проблеска мысли, с нанятыми из чужих рук проектами, без настоящего желания что-либо сделать и с застаревшей привычкой как-нибудь отписаться или отмолчаться, или приветствовать, или распалиться трескучей бессодержательной речью, или состряпать донос, смотря по специальности каждого из действующих лиц. Таковы люди, таковы и дела. Таковы они и в обществах разных ревнителей православия, и в епархиальных и прочих училищных советах. Как в провинциальном театре те же десять статистов входят и выходят, изображая войско, так людей в церковном безлюдьи изо-

бражает самое церковное начальство с ничтожной кучкой других чиновников из тех, кого лень, а иногда и честность взглядов не сподобили держаться в стороне от жалкой церковно-общественной стряпни.

Есть, впрочем, общественное дело при официальном покровительстве возможное и на безлюдьи. Мы воочию узнали эту возможность из успехов «истинно-русских» союзников, истинная популярность у которых была так ярко засвидетельствована во время обеих последних предвыборных компаний.

Победоносцеву принадлежит изобретение этого рода общественной деятельности.

Как было бороться со штундой? ³⁰ Она растет и распространяется. Она глубоко противна «душе русского народа»; ведь «главную основу его жизни составляет православная вера и церковь с ее установлениями!» Если растет и развивается штунда, очевидно, кто-то чужой пришел и приказал. Приказному уму русского чиновника свойственно за каждым явлением учуять чье-то предписание, откуда-то исходящее и также начальственное. Только бы добраться до этого таинственного крамольника, откуда-то посылающего свои циркуляры! Народ, конечно, против него. Может ли русский народ не любить администрацию? Она ведь действует в духе народном, — так значит в заголовках наиболее тщательно переписанных, к наиболее высшим чинам обращенных бумагах. Отсюда, если не удастся уничтожить крамольника, производящего смуту, то стоит лишь, — и вот тут-то единственно удавшееся изобретение Победоносцева, — «даровать наилучшие условия для живого и свободного выражения коренного чувства народной души».

Нужно открыть народу глаза, и пусть он сам действует. Действие самого народа так, как понимают эти действия «истинно русские» люди, — вот создание Победоносцевского гения. Соответственный способ борьбы с крамолой и был пущен против штундистов. В пограничных местах с поселениями штундистов выучилась полиция своевременно ничего не видеть, не осмеливаясь посягать на «живое и свободное выражение коренного чувства народной души».

Не надо удивляться, что монастырские типографии оказались фабрикой черносотенных воззваний. Не надо удивляться связи легенды об японских миллионах с твердынями православной церковности. Разве не в совершенно том же стиле, что и легенда об японских миллионах следующее заявление «Обзора деятельности ведомства православного исповедания за время царствования Императора Александра III», которым мы так часто уже

пользовались. В отчете о развитии штунды читаем: «От немцев ждуг они и освобождения от того мнимого политического и социально-экономического гнета, в котором будто бы держит их правительство православной России. Словом, штунда, подрывая основные начала православной веры, подрывает также и основные свойства русской народности. Даже более, в последние годы социально-политическая сторона учения в штундизме стала преобладать над религиозно-церковною». Чем отличается нелепость этого представления штундистов какими-то изменниками своего отечества, готовыми передаться Германии, от рассказней о японцах, подкупивших русских революционеров?

Чем отличается также вот такая прокламация о штундистах, которую распространял харьковский архиерей, от более современных черносотенных воззваний? Те же бессмысленные клеветы, те же призывы к насилию и правительственным преследованиям. Прокламация называлась «Проклятый штундист». В ней говорилось:

«Гремите, церковные громы,
 Восстаньте, соборные клятвы,
 Разите анафемой вечной
 Штундистов отверженный род.
 Штундист разрушает догматы,
 Штундист отвергает предания,
 Штундист порицает обряды,
 Еретик он, проклятый штундист».

Но это слова. Познали штундисты на своей шкуре и соответственные действия. Отвратительные злодеяния, вроде пытки М. А. Спиридоновой, впервые совершались в деревнях волостными старшинами и урядниками по отношению к штундистам, при благосклонном одобрении и попустительстве миссионеров. Там взлелеян был впервые этот способ борьбы с крамолрой. 11 сентября 1892 года Бабенецким старшиною была изнасилована штундистка Ксения Лисова. В том же году были избиты штундисты в деревне Кишиневце Уманьского уезда, Киевской губ<ернии> 30 декабря 1899 г. в селении Константиновке, Херсонского уезда, Гурьевской волости произведен был погром в доме Федосьи Кучеренковой волостным старшиною и урядником. На пасху 1893 г. произведено избиение штундистов в Бутурлиновке, Воронежской губ<ернии>, 7 февраля 1904 г. убит крестьянин Селянка в местечке Вязовке, Черкасского у<езда>, Киевск<ой> губ<ернии>, причем урядник отказался произвести следствие.

Не довольно ли?

Нет, мало этого! Не надо забывать еще и славного Павловского дела.

Многие, вероятно, помнят, что крестьяне-соседи Хилкова разбили церковь-школу и потом, в свою очередь, были жестоко избиты окружающим населением. В результате дело, слушавшееся в Сумах 28 янв. 1902 г., и 44 чел. пошли на каторгу на 8, 12, 15 лет. Вот, что пишет об этом Павловском деле один из очевидцев: «Когда был назначен в Павловки новый священник, который стал еще несправедливее и придирчивее обращаться с ними (штундистами), некоторые из них начали терять терпение. В это самое время к ним пришел какой-то странный человек, — если и не подосланный, то во всяком случае умышленно допущенный к ним правительством, — и стал возбуждать их к открытому возмущению против церкви».

— А, знакомое дело, скажет теперь всякий: провинция!

Излюбленный, а теперь и изощренный прием.

Еще в конце 70-х и начале 80-х годов вошло в употребление избиение университетской молодежи при помощи всякого сброда. Эта погромная и провокационная политика была усовершенствована, но она получала, так сказать, свою окончательную отделку и литературную обработку именно по отношению к сектантам. На миссионерских и консисторских прокламациях воспитывался административный и писательский талант черной сотни. Он был взлелеян на родимом гноище победоносцевской церковности. Ненависть, глупость, ложь без зазрения совести, «ложь во спасение» — знаменитое словцо Победоносцева, — какая угодно жестокость, преступление на преступлении и изуверство на изуверстве, — такова выучка победоносцевской церковности и веры, и вот тот дар, что принесли они нашей государственности.

Гибло православие в костистых пальцах кашея-Победоносцева, и расползалась ядовитая мразь по всей Руси, и питалась ее соками бесшабашная рать Половневых и Крушеванов, руководителей Парижского агентства, Никольских и Иллиодоров. И Иллиодор, стоголовый и безголовый, изрыгающий скверну, кривляющийся шут с чертовскими когтями на лапах и в святительской рясе, стал единственной надеждой нашей синодально-победоносцевской церковности, уже рухнувшей во прах, уже упавшей в развалинах, уже обессиленной своими неисчислимыми преступлениями...

